

Франсуаза
Малле-Жорис



бумажный
домик

Франсуаза Малле-Жорис Бумажный домик

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4970367

Франсуаза Малле-Жорис. Бумажный домик: Астрель; Москва; 2012

ISBN 978-5-271-44055-7

Оригинал: Françoise Mallet-Joris, "Leçons De Français La Maison De Papier"

Перевод:

Мария Архангельская

Аннотация

Франсуаза Малле-Жорис – коллекционер простых вещей: обрывков фраз, ситуаций, анекдотов. Дети спорят за завтраком, домработница поет, забыв о грязной посуде, в квартиру забредают случайные люди и остаются ночевать... Из будничных происшествий Малле-Жорис мастерски вырисовывает жизнь в ее подлинной прелести.

За юмор и психологизм, за тонкую наблюдательность хозяйка «бумажного домика» удостоилась многих литературных премий. Ей также довелось быть вице-президентом Гонкуровской академии и членом Бельгийской королевской академии французского языка и литературы.

Содержание

Венсан и я	4
Два вопроса, которые мне чаще всего задают	7
Полина	9
Долорес	10
Марсель	13
Даниэль и поэзия	14
Молитва	16
Продавец метелок	17
Франка	20
Равнодушие	22
Кошка	23
Басни	25
Конфирмация	26
Катрин	27
Консоласьон	28
Тетушка	29
Беспорядок	30
Прохожий	33
Мадам Жозетт	35
Смерть тетушки	38
Воскресенье	39
Домик из картона	42
Благие намерения	44
Занавески	46
Вещи	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Франсуаза Малле-Жорис

Бумажный домик

*«Важнее быть серьезным,
чем благоразумным», —
говорил мой отец,
которому я с любовью
посвящаю эту книгу.*

Венсан и я

Венсан (одиннадцать лет). Знаешь, мама, чтобы мир стал прекрасным, надо...

Я. Да?

Венсан. Надо сначала уничтожить комаров.

Я. Вот как?

Венсан. Да, и еще гадюк.

Я. Это почему?

Венсан. Потому что из-за ядовитых змей страдают ужи. Их путают – когда видят ужа, кричат: «Ох, гадина!» И ему обидно. А если на земле из всех змей останутся *только* ужи, ты будешь твердо знать, что они не кусаются, и скажешь: «Ах, какая красивая маленькая змейка!» И ужю будет приятно. Если бы я мог переделать мир...

Я. А ты считаешь, что он сделан плохо?

Венсан. Нет. Я ведь не привереда.

Я. Ну и кого бы ты еще уничтожил?

Венсан. Из животных почти никого. Львов и крокодилов я бы, например, оставил...

Я. Ну да?

Венсан. Да, оставил. Из-за путешественников. По-моему, им бы не понравились путешествия без всякого риска. Что это за приключения без львов и крокодилов?

Я. Само собой.

Венсан. А вот некоторых субчиков, знаешь, хорошо бы вжик, вжик, вжик... Это уж точно.

Я. Каких таких субчиков?

Венсан. Сначала надо их как-то распределить. Во-первых, это те, что затевают войны, мятежи, потом те, что злобные...

Я. А это не одни и те же?

Венсан. Не обязательно. Есть еще обжиралы...

Я. А это кто такие?

Венсан. Те, что норовят заглотить побольше, даже если не голодают, но главное, конечно, те, что воюют. И с соседями, и дома. Я хочу сказать, в собственной семье.

Я. Ты считаешь, что на них все-таки можно найти управу?

Венсан. А почему не попробовать? Тут нужен Глаз.

Я. Глаз?

Венсан. Да. Глаз – в каждом доме. Как только он увидит, что затевается ссора, он даст им послушать какую-нибудь приятную музыку, чтобы они перестали.

Я. А если они не перестанут?

Венсан. Тогда нужен Глаз-начальник, его предупредит электронное устройство, и он пошлет к ним очень добрых жандармов, которые их успокоят.

Я. А разве такие бывают?

Венсан. Кто?

Я. Очень добрые жандармы?

Венсан. Их специально готовят. По всем правилам науки.

Я. А тебе не кажется, что это противоречит свободе совести?

Венсан. Когда не даешь людям ругаться?

Я. Да.

Венсан. Возможно. И все же Глаз не помешает. Синий. Вот если б я был богатый и мог купить все на свете...

Я. Что бы ты купил?

Венсан. Все. Но я могу и понарошку...

Я. Как это?

Венсан. Я говорю себе: я могу купить все. Но мне не к спеху, и я не покупаю ничего. Это одно и то же.

Я. Почти.

Венсан. И еще я бы хотел быть при Воскресении.

Я. Вот как?

Венсан. Да, и задать кое-кому несколько вопросов.

Я. Кому именно?

Венсан. Например, Жерару де Нервалю. Я бы спросил у него, что он на самом-то деле имел в виду в своем стихотворении, которое ты не смогла мне объяснить. «Амур я или Феб»... Только, наверное, у него всякая охота пропадет оживать, если к нему станут приставать с такими вопросами.

Я. Вполне возможно.

Венсан. А может, он вообще захочет стать бакалейщиком для разнообразия... И еще я бы с удовольствием поговорил с первобытным человеком. Я спросил бы: правда, что рисунки в пещерах – бизоны и всякое такое – волшебные... Я бы вызвал его прямо сюда и спросил. Нет, может, и не сюда, тут машины ездят, он испугается. Лучше в поля за город, ему будет привычнее. А тех, кто станет брать у него интервью, нужно одеть в шкуры, такие, как у него. И подобрать народ покрепче.

Я вот все думаю, если бы первобытный человек увидел наш, современный мир, ну там машины, телевизоры и так далее, что бы он предпочел: жить в наше время или вернуться в пещеры? Диплодоки и плезиозавры, тьма непроглядная, конечно, не подарок. Но машины и рак тоже.

Я. А ты что бы ему посоветовал?

Венсан. Знаешь, в конце концов, наверное, диплодоков. Только я бы подарил ему коробок спичек, если он еще не изобрел огонь, и еще, пожалуй, флейту.

Я. Так ты нарушишь ход мировой истории.

Венсан. Ты так считаешь?

Я. Конечно. Чтобы добыть огонь, ему нужно было думать годы и годы. Ты даешь ему спички, и думать теперь не надо. Лучше уж позволь ему добыть огонь самому.

Венсан. Но пока он будет его добывать, он промерзнет до костей.

Я. Что правда, то правда.

Венсан. И может, ему будет совершенно все равно, сам он изобрел огонь или нет, если он замерзнет?

Я. Да, наверное.

Венсан. И вообще, хоть я и не собираюсь никого критиковать, но Господь Бог все же мог бы дать ему огонь с самого начала. Про флейту я не говорю, хотя по вечерам, без элек-

тричества, с музыкой все-таки веселее. Но огонь! Как подумаешь, что были люди, которые *совсем* не знали, что это такое. Представляешь? У меня от одной этой мысли мороз по коже.

Я. Но ведь и теперь у многих людей нет самого необходимого.

Венсан. Конечно, но теперь люди хотя бы знают, что оно существует.

Я. Разве это утешение?

Венсан. Не знаю. Но если бы первобытные люди хотя бы могли сказать себе: когда-нибудь у нас будет огонь...

Я. Но тогда им не надо было бы его изобретать.

Венсан. А разве мы живем, чтобы изобретать?

Я. В каком-то смысле.

Венсан. Мы об этом еще поговорим.

Два вопроса, которые мне чаще всего задают

Но сначала, кто такой Венсан? Сейчас ему уже четырнадцать, для меня же он все еще малыш. Мой малыш. Мой младший сын. Старший – Даниэль, в этом году ему исполнилось двадцать. Еще у меня есть Альберта одиннадцати лет и Полина – ей девять. Мои дети.

Чаще всего меня спрашивают, пожалуй, вот о чем. «Как это вам удается писать?» Или: «Я вами просто восхищаюсь, у вас четверо детей, и вы умудряетесь писать». Как правило, те самые люди, что спрашивают об этом, через минуту уже просят меня выступить с лекцией в Ангулеме, прочесть рукопись двоюродного брата или набросать статью о жизни Флобера, а то и о мадам де Лафайет: «У вас это отнимет несколько минут».

И я не знаю, что им отвечать. Отделяюсь банальностью: «Главное – уметь организовать свое время». А что еще я могу сказать?

И второй вопрос, иногда с оттенком снисходительной иронии, иногда словно восхищаясь спортивными достижениями: «Наверное, очень удобно быть верующей?» Или: «Я восхищаюсь вашей верой!» Или же: «Это ведь большое счастье – верить...»

И я опять не знаю, что отвечать. Опять отделяюсь банальностью: «Не так уж и удобно. – Потом спохватываюсь: – Да, конечно, удобно, в каком-то смысле».

Я не умею отвечать на вопросы. Точнее, я не умею отвечать словами. Я смотрю на своих детей, на свою работу, на свою веру. Я говорю себе: «Вот они», – как говоришь перед зеркалом: «Вот мое лицо». Пускай другие дают им характеристики. А меня, пожалуйста, увольте...

В тот день, когда у меня с Венсаном состоялся этот разговор – я записала его, потому что он показался мне забавным, – мы отправились с ним выпить чаю в английское кафе возле Сен-Северина, где такие вкусные лимонные пирожные. Наш поход вовсе не был наградой Венсану: никакой награды он не заслужил. Нам просто захотелось поговорить, вот и все. Венсан в свои одиннадцать лет: плохой ученик, непоседа, забияка, сорвиголова, хлебом не корми, дай забраться куда-нибудь повыше, страшно ранимый, попробуй упрекнуть его – сразу в слезы, неисправимый мастер-ломастер, вечно весь в клею и краске, страстный почитатель книг по естественным наукам и большой поклонник Арсена Люпена, порой немного педант, редкий грязнуля, с прекраснейшими на свете глазами и кое-какими познаниями в теологии. Но и ему тоже я не берусь давать характеристику.

То, что Венсану захотелось поговорить со мной: «Пойдем куда-нибудь, где можно спокойно поболтать», – моя маленькая радость, пустяк, на вид не стоящий упоминания, но такие пустяки протягивают для меня путеводную нить сквозь хаос перелистанных рукописей и перемытой посуды, сообщают жизни ее истинный смысл и ценность. Как тот день, когда Альберта впервые выступала в концерте (с пьесой для фортепьяно) или, возвращаясь из детского сада, прихватила с собой какого-то малыша; или когда Полина (ей было тогда пять!) заявила: «Сегодня я обедаю в ресторане»; тот день, когда она получила награду по чистописанию – на ней был новый фартучек, и выглядела она таким воспитанным ребенком! Или первое стихотворение Даниэля, его первая вечеринка; или саксофон, который он только что купил, и мы застыли в восхищении перед новеньким инструментом, поблескивающим в футляре, обитом бархатом; или когда он, нежась в ванне (на бортике – сигарета, в мыльнице – надкушенное печенье), сказал мне: «Я видел сегодня потрясающий сон. Я совершил долгое и опасное путешествие и возвратился, увенчанный славой, чтобы жениться на замечательной девушке». Из его глаз, огромных и зеленых, смотрела вся прямодушная молодость мира, молодость песен и стихов, смотрела радостная готовность к чуду, неизменная со времен Крестовых походов. Это светлые мгновения – в них то же счастье, какое дарит творче-

ство. И вера. Есть и другие минуты, омраченные муками творчества и веры. И они слиты воедино, эти мгновения. Они слиты воедино, но разве это ответ на те два вопроса?

В тот вечер я сказала Жаку:

– Ты должен нас нарисовать. Сделать большой портрет всех членов семьи. Мы, дети, звери, Долорес. Все художники так делают. Selbstbildnis¹. Художник и его семья.

– К сожалению, сейчас я тяготею к абстрактной живописи, – заметил он, жуя свою трубку.

– Ну конечно. Значит, взваливаешь это, как всегда, на меня.

– Какое лицемерие!..

Я напишу эту картину. Но может ли картина дать ответ?

¹ Автопортрет (нем.).

Полина

Полина. Ты любишь папу?

Я. Да.

Полина. И будешь любить всегда?

Я. Конечно.

Полина. А почему ты в этом так уверена?

Я. ...

Полина. Вдруг ты однажды скажешь себе: ох, какой у него огромный нос!

Я. Но я люблю папу не за нос!

Полина. А я за нос. Мне его нос очень нравится. Но может и разонравиться.

Я. И что же ты будешь делать, если он тебе разонравится?

Полина. Ой! Бедный папа! Придется притворяться.

Долорес

Долорес живет с нами уже четыре года. Четыре года с перерывами: время от времени ее уносит буря страстей, и мы вступаем в период междуцарствия.

Долорес. Меня нужно звать не Долорéс, это по-французски, а Долóрес. Долóрес значит «страдания», самое красивое имя на свете.

Я. Вот как?

Долорес. Но поскольку это слишком грустно, меня называют Лоло. Так современнее и похоже на кинозвезду.

* * *

Я. Долорес, я принимаю ванну.

Долорес. Ничего, меня это не смущает.

Она усаживается на табурет спиной ко мне – уступка моей стыдливости и правилам хорошего тона.

Долорес. Сигарету?

Я. С удовольствием.

Она раскуривает две сигареты, одну протягивает мне. В ванной царит первозданный хаос. Сквозь облезлые витражи весь дом напротив разглядывает меня в свое удовольствие. Витражи делали двенадцать лет назад, еще до нашей с Жаком свадьбы, когда наше зарождающееся чувство купалось в его сказочных проектах. И я тешила себя иллюзией, что такой мастер на все руки, как Жак, устроит для нас райский уголок, не уступающий экспозициям мебельных салонов.

Долорес. Пока вы принимаете ванну, я хоть передохну минут пять.

Я не решаюсь ей сказать, что лелеяла такую же мечту.

Долорес. Вчера я перестирала грудку белья высотой с человека. Ох и умеют же они пачкать, эти дети! Вечером зато здорово повеселилась. Сегодня дел мало, и я загрустила. У меня в семье не любят прохлаждаться.

Я. Но ведь иногда так приятно отдохнуть.

Долорес. А вы разве когда-нибудь отдыхаете?

Я. Я... я стараюсь.

Долорес. Да вы даже в ванне книгу читаете.

Я. Но ведь это не работа.

Долорес. Самая настоящая работа! Когда я думаю, я так устаю. А вот сегодня всю ночь не спала и ничуть не устала. Ходила со своими испанцами из кафе в кафе, болтали.

Я. А ты встречаешься только с испанцами?

Долорес. С испанцами или марокканцами. Мы отлично ладим, от добра добра не ищут. У Кристины – у той одни португальцы. Зато она по крайней мере знает национальность своего сына, хоть ей и неизвестно, кто его отец.

В ванную незаметно начинает стекаться народ.

Хуанито² играет на полу с собачьим поводком, который потом придется разыскивать по всему дому. Полина исследует мою туалетную сумочку и посыпает себя тальком. Альберта слушает наш разговор. Пес и кошка Тэкси беззлобно дерутся.

Альберта (с интересом). Ей неизвестно, кто отец кого?

² Хуанито – сын Долорес, три года. – Примеч. авт.

Долорес внезапно срывается с серьезного, сдержанного тона на пронзительный, типично испанский фальцет. Она вопит во все горло, но лицо ее, красивое и большое лицо испанской крестьянки, остается безмятежным.

Долорес. Вы когда-нибудь оставите вашу маму в покое, паршивцы вы такие?

Паническое отступление. Пес стрелой вылетает из ванной, опрокидывая Полину, которая падает в облаке талька. Слезы. Альберта ретируется за дверь, но уши у нее на макушке. Хуанито вцепляется в кошку.

Долорес (*берет еще одну сигарету*). Ох уж эти дети! Все-таки должно же быть у них хоть какое-то воспитание. Хуан не капризничал ночью?

Когда Долорес отправляется «слегка проветриться», она оставляет на мое попечение Хуана, красивого серьезного бутуза, немного мрачноватого и по-испански высокомерного; он устраивается в кровати между Полиной и Альбертой и покорно терпит материнские ласки моих дочерей.

Я. Нисколько не капризничал.

Полина (*вновь появляется как по волшебству, вся белая с головы до ног; пронзительным голосом*). Еще как капризничал, я сказала ему: «Спи, мой золотой», – и спела колыбельную, а он как завопит, и тогда Альберта меня ущипнула.

Альберта (*за дверью*). Она пела ему прямо в ухо!

Полина (*рыдая, в ярости*). Нет! Нет! Она врет!

Я (*слабым голосом, примиряюще*). Может быть, он не любит музыку?

Долорес (*возмущенно*). Как? Кто, кто это не любит музыку? А вот мы сейчас посмотрим!

Взмахом руки она отшвыривает кошку, которую ее отпрыск терпеливо засовывал в полиэтиленовый мешок, ставит Хуанито прямо перед собой, кричит ему «Оле» и запекает какую-то дикую песню. Малыш послушно щелкает пальцами и подпрыгивает на месте, не теряя при этом своей врожденной серьезности. Некоторое время Долорес с восхищением любит им, потом сгребает в охапку, покрывает поцелуями, кусает за щечку, но, заметив, что он весь мокрый, так же резко отшвыривает его на пол.

Долорес. Ох! Мое сокровище! Ох! Какой стыд!

Хуанито плюхается на пол, как тюфяк, на лету подхватывает кошку и принимается опять засовывать ее в мешок, в котором я наконец узнаю мешок от своей губки.

Я. Долорес, это мешок от моей губки.

Долорес (*очень твердо*). Все равно, губка теперь пропала. Так о чем мы говорили? Ах да, о Кристине. Она позорит Испанию.

Я. Из-за португальцев?

Долорес. Нет, не в этом дело... Она немножко блаженная, понимаете? И даже не замечает, как у нее дружки меняются. Она ни читать, ни писать не умеет.

Я. Теперь понятно.

Долорес. Только это тоже не оправдание. Честности не учатся, она в крови, как пасо-добль. А Кристина нечиста на руку.

Я. Неужели?

Долорес. Да. Она ворует даже у друзей. Зато не выносит подарков. Попробуйте сделать ей подарок – она сразу обозлится. А вот стащить – пожалуйста. Сколько угодно. Я очень смеялась, когда она забеременела. Я сказала ей: «Уж от этого подарка ты не отвертишься».

Серебристый смех Альберты из-за двери. Долорес вскакивает.

Долорес. Ах ты паршивка! Шпионишь! У дверей подслушиваешь! Вот я тебе сейчас уши надеру! Без обеда останешься... Я тебе...

Альберта (*холодно, высокомерно, чуть побледнев, принимает бой*). Ты обязана, – бросает она, прекрасно зная, что накликает бурю.

Долорес (*впадая в неистовство*). Что значит – обязана? А тебе известно, сколько я могла бы получать в Марселе? Сто тысяч франков, и еще больше, да два выходных, да свой телевизор... А я до сих пор здесь торчу, потому что маму твою жалею.

Альберта (*не сдаваясь*). Все равно ты обязана кормить меня.

Долорес (*обезумев*). Никому я ничего не обязана! И никто меня не заставит. И почему это, скажи на милость, я обязана?

Альберта (*с достоинством*). Потому что я ребенок.

На мгновение Долорес столбенеет, пораженная неопровержимостью довода, но тут же гнев как маска слетает с нее, и она разражается смехом.

Долорес (*призывая меня в свидетели*). Ну что за прелесть эта девчушка!

Она хватается Альберту, целует. Альберта не сопротивляется, она невозмутима, как боксер, который, послав противника в нокаут, вынужден терпеть надоедливый, но неизбежный восторг толпы. Кошка задыхается в полиэтиленовом пакете. Хуан пытается сесть на нее верхом.

Долорес (*совсем растрогавшись*). Вы только взгляните на эту парочку, что за душки!

Я. Мне кажется, кошка вот-вот задохнется.

Долорес. Нет, нет... Сейчас я их разниму. Не стоит так волноваться по пустякам. (*В порыве чувств.*) Со следующего жалованья я куплю вам новую губку.

Я. Спасибо, Долорес.

Я вылезаю из ванны при большом стечении народа, отчаявшись обрести здесь отдохновение от превратностей жизни.

* * *

Долорес, оказавшись в период своих злоключений проездом во Франкфурте, купила там два пояса для чулок – купила исключительно из любви к прекрасному, потому что пояса она ненавидит и не носит. Пояса черные, по ним порхают розовые бабочки. В неудержимом порыве чувств: «Вот, возьмите! Я их ни разу не надевала. На блондинке они будут еще эффектнее». Теперь их ношу я.

Марсель

– У испанок в Марселе, – говорит Долорес, – отдельные комнаты с телевизором и горячей водой. Они могут принимать гостей.

– Но ведь и к тебе приходят гости, Долорес...

– Какие это гости? Две-три подружки, пару раз в неделю. И каждый раз я должна просить у вас серебряный поднос. А в Марселе у меня было бы свое серебро, складной столик, скатерти в цветочек, кожаный красно-черный диван-кровать с куклой на подушке. И на стене – настоящая картина.

– А что такое настоящая картина, Долорес?

– Настоящая – вроде той, что я привезла из Мон-Сен-Мишель, – отвечает Долорес. – Не хочу сказать ничего плохого про вашего мужа. Не понимаешь – не суди. Только то, что рисует ваш муж, – может, это и живопись, но не картины.

Анита, Кристина, Конча... Я натыкаюсь в своем доме на множество испанок, которых толком даже не знаю; в нашей тесной квартире это довольно неудобно (правда, они ведут себя очень деликатно и всегда стараются меня ободрить, когда встречаются разгуливающей в одной комбинации).

В поисках свитера я забредаю в ванную и застаю их там вчетвером или впятером; вхожу на кухню, где они пьют чай, у каждой на коленях по ребенку, а то и по два. Меня угощают печеньем. Анита, Кристина, Кончита, все носятся с одной легендой, одной мечтой – сказочная жизнь испанок в Марселе. Испанки в Марселе свободны в пять часов пополудни, они надевают атласные платья и весь вечер гуляют, разглядывая витрины. В изголовье кровати они держат электрические чайники и прямо в постели пьют свой утренний кофе (и это еще что, у кузины одной из Лолиных кузин у кровати стояла удивительная кофеварка: заведешь ее на определенное время, она тебя будит, и тебе остается только протянуть руку за чашкой горячего кофе; правда, Лола честно признается, что кузина кузины жила тогда в американской семье. Американцы из Марсея – это высочайшая вершина, венец всей карьеры, предел мечтаний). А еще испанки в Марселе имеют счет в банке, и это естественно: они просто не могут потратить все деньги, которые зарабатывают. Летом они ездят на пляж, устраивают пикники, ходят на танцы, а на танцах в Марселе гораздо веселее, чем в Париже, потому что там танцуют пасодобль. И имеют бурный успех, ведь в Марселе понимают толк в красивых женщинах, не то что в Париже, где все ходят в этих мини-юбках. Лола, Анита, Тереса единодушно против мини-юбок. В таких вопросах они очень строги. Мини-юбка неприлична, к тому же женщину она не украшает. Что может быть прекраснее красивой, стройной испанки, затянутой в атлас и утопающей в кружевах? Долорес, более восприимчивая к веяниям времени, купила себе платье в горошек, выше колен. Один из ее друзей, марокканец, маляр, обозвал ее шлюхой. «Вот вам мужчины, – жалуется она. – Стоит только женщине хоть немного приобщиться к прогрессу... Мракобес!» Каких только развлечений нет у испанок из Марсея! В кино они смотрят лучшие испанские или мексиканские фильмы; хозяйки берут их с собой в Байонну на бой быков; в колбасных продается готовая паэлья. И само собой разумеется, когда живешь как у Христа за пазухой, да и знакомых хоть отбавляй, ничего не стоит найти своим детям отца.

– А что, дети у них тоже заводятся?

Конечно, в Париже это дело обычное. Но я думала, что в Марселе...

– Помилуйте! – возмущается Долорес. – Они такие же женщины, как вы и я.

Я интересуюсь, как живут в Марселе писатели. Долорес была бы рада и мне уделить хоть немного от своей мечты, но если честно, про писателей она мало чего знает.

Даниэль и поэзия

Каждый год в первых числах июля мы отбываем в Нормандию под грохот кастрюль – ничего не поделаешь, феномен их внепространственной транспортировки, известный в науке под названием «прокат», выявил свою полную несостоятельность (смотри главу о занавесках). Мы везем любимые книги, музыкальные инструменты, кошку, собаку, двенадцать кукол-голышей, везем даже перец, но забываем плащи и вилки. Не беда. Когда нам с Жаком осточертеет есть рис ложкой, мы бросим наших детей на зеленых лужайках и рванем в Париж, сладострастно ступим на асфальт, ринемся в первое попавшееся кино, потом (с острым чувством вины) в первый попавшийся ресторан и вернемся в Ге-де-ла-Шен поздно ночью с вилками и плащами, правда, без плаща Полины, который, как сообщает нам Доло-рес, висит в шкафу, чего мы никак не могли предположить. Нас с нетерпением поджидает Даниэль, и по его радостному, но серьезному лицу мы понимаем: свершилось. Он написал стихотворение, ежегодное стихотворение о деревне. Эти стихи – некий ритуальный акт, священнодействие. Резвый ветерок, гуляющий на Першских холмах, пробуждает у Даниэля вдохновение – пробуждает регулярно, но только один-единственный раз в году. Дух поэзии оставляет его до следующего лета.

– Так я прочту?

– Давай.

Легкий румянец на щеках, руки слегка дрожат – Даниэль читает свои стихи. Они всегда начинаются одинаково, что подчеркивает их ритуальный характер. «Утром, едва я пробуждаюсь...» – и засим следует описание красот природы, которые вызывают особенный восторг после нескончаемого учебного года. Даниэль превозносит чистоту воздуха, величественные очертания холмов, прелесть одиночества, птичьи трели; порой вставляет более приземленную деталь (звуковой фон в виде плюхающихся коровьих лепешек) или снисходит до голого практицизма (негодует по поводу ущерба, который вороны наносят только что засеянному полю, рассуждает об искусстве дойки коров), что выдает его приверженность фламандской школе. Размер не соблюдается, ассонансов больше, чем настоящих рифм. Даниэль долго волновался по этому поводу.

– Ты уверена, что это все-таки настоящие стихи?

– Совершенно уверена.

– А кто-нибудь еще так писал?

Я ссылаюсь на авторитеты – Аполлинер, Милош. Даниэль доволен. Значит, он в самом деле написал стихи, которые отвечают определенным правилам. Чистая лирика его не устраивает, ему нужен социальный резонанс. Он не просто пишет стихи, он вещает. Мне импонирует такое отношение к поэзии, так же как и полное отсутствие литературных претензий, ведь в течение года Даниэль не напишет больше ни слова. «Не вижу в том необходимости», – говорит он, как Талейран. А я вижу в этом преклонение перед таинством, бескорыстие, понимание важности и значения поэзии. Вижу склонность к созерцательности, благородный отказ от эксплуатации своего дара. Перед этим единственным творением Даниэля я даже чувствую себя несколько униженной своей каждодневной возней с рукописью, всеми этими переписываниями, переделками, творческими поисками. Даниэль перестал писать стихи, когда ему исполнилось пятнадцать. В тот же год он перестал посещать церковь. И то и другое огорчило меня почти в равной мере.

У Альберты тоже была пора поэтического взлета, более интенсивная и более короткая. Она длилась всего два месяца, ей в то время было пять лет. Это было устное творчество: писать она тогда еще не умела и просила меня записывать ее сочинения. Я по обыкновению

работала у себя в комнате на втором этаже; услышав крик, высовывалась в окно: внизу стояла Альберта, подняв ко мне свое маленькое личико, в восхищении от собственного открытия:

– Мама! У меня опять стих получился!

* * *

Когда мы купили эту маленькую ферму в Нормандии («дом без всякой обстановки» – таким он и остается), я была тронута, увидев, что над входной дверью, маленькой и низкой, чья-то неизвестная рука начертала крест. Своего рода «добро пожаловать» – так принимал нас этот незнакомец, которого, может быть, уже не было в живых. Маленький крестик, нанесенный известью, постепенно почти совсем стерся, и в этом году я его подновила, используя краску, оставшуюся на дне банки после ремонта в ванной. Я сделала это не раздумывая. Сомнения пришли потом: а может, это неуместно? Претенциозно? Ведь осталось так мало домов, на которых есть кресты. Словно хочешь сказать: вот божий дом, образцовая христианская обитель, зрелище, достойное восхищения, а ведь на самом деле это всего-навсего значит – «входите».

Но ничего не поделаешь. Дело сделано.

Молитва

- Вы молитесь за меня в церкви, Франсуаза? – спрашивает Долорес.
- Конечно. Я всегда это делаю.
- Как мило с вашей стороны. И я тоже, знаете, о вас не забываю. Когда я выхожу вечером «слегка проветриться», я думаю: бедняжка Франсуаза, одна в кровати с книжкой!

Продавец метелок

Его звали Роже, и было ему за пятьдесят, круглая голова северянина, глаза ярко-синие с притворно тупым выражением. Он появился однажды вечером, около пяти, с намерением продать мне метелки из перьев, которыми мы почти не пользуемся. Я вяло отказывалась.

– Да ведь я же сирота! – вскричал он с надрывом.

– Что ж, в вашем возрасте это неудивительно! – (В тот день у меня был приступ бессердечия.)

– Да, но я принимаю все так близко к сердцу...

Я купила одну метелку. Роковая покупка. Весь год мой дом был завален метелками всех цветов радуги. Коммерческая операция («у меня осталось всего три») чередовалась с дарами («не отказывайтесь, вы меня так огорчите, сочтемся когда-нибудь потом»). Счет предъявлялся довольно быстро). Порой мой дом становился складом («оставляю вам свой товар, я очень скоро его заберу»). Это «скоро» длилось иногда три-четыре дня, иногда десять минут). Метелки превращались в детские игрушки, разноцветными букетами украшали прихожую, заполняли и так битком набитые шкафы. «Не забывайте время от времени прыскать их антимолю», – напоминал мне Роже. Я покорно прыскала. «Вы стали для меня матерью», – говорил мне мой сирота. Мне было тогда двадцать пять лет, и подобное материнство казалось мне несколько неожиданным и весьма обременительным. А потом Роже зачастил к нам, повел форменную осаду. Обнаружив, что в прихожей, примыкавшей к нашей спальне, удобно, чисто и тепло, он повадился там отсыпаться, когда оставался без крыши над головой: не долго думая, растягивался прямо на полу. Когда он впервые завел об этом разговор, я ничего не поняла: своим ласковым, протяжным, довольно хмельным голосом он рассказывал мне какую-то историю о полицейской облаве в маленькой гостинице, о том, что в суматохе пропали его ботинки, о патенте, который у него требовали и которого у него не было. Он говорил и говорил, как человек, для которого время давным-давно перестало существовать; так говорят, когда хотят любой ценой завоевать чье-то расположение; так говорят с полицейскими, с палачом, с Богом: тут и фамильярность, и страх, и хитрость, и детская доверчивость, и презрение. А глаза его с вожделением были устремлены на эти четыре-пять квадратных метров паркета, четыре-пять кубических метров тепла, безопасности, сна. «У вас здесь прелестная комнатка», – говорил он с каким-то робким бесстыдством. Или: «Как у вас тепло». Я было решила, что отделаюсь от него под предлогом, что у меня нет лишних одеял и матраса.

– О! Это не имеет значения.

– Подушки тоже нет.

– Да мне и не нужно, – сказал он, – мне не привыкать.

Больше возразить было нечего. Он улегся в прихожей на полу, в обнимку с бутылкой красного вина, поджал ноги, чтобы занимать поменьше места, и накрылся вместо одеяла своим пальто, задубевшим от грязи.

– Ну, если теперь к вам нагрянут воры, им придется пройти через мой труп, – сообщил он, сияя.

– У нас и красть-то особенно нечего, – заметил Жак.

– О! Всегда что-нибудь найдется.

Проходить мимо него ночью в ванную комнату, в одной пижаме, было довольно неудобно.

Невозможно было угадать заранее, когда он появится. То он проводил у нас три ночи подряд, то исчезал на несколько недель. В его жизни, словно окутанной плотной пеленой

тумана, случались беды и радости, в равной мере необъяснимые. Его избивали полицейские, отбирали у него метелки, бросали в чаще непроходимого леса, откуда он чудом выбирался; его выгоняли из одной ночлежки и пускали в другую, он получал в подарок такое несметное количество старых пиджаков, что легко мог бы заняться торговлей. Но клошары обворовывали его. Он подарил Жаку слишком новую для него кепку. Мы долго хранили ее, потому что при каждом его визите нам приходилось ее предъявлять.

В конце концов его присутствие за тонкой перегородкой, отделявшей спальню от прихожей, превратилось для меня в пытку. И пока он, укрывшись пальто и подложив локоть под голову, храпел себе в свое удовольствие, словно лежа под каким-нибудь мостом, я глаз не могла сомкнуть. Всякий раз, когда он исчезал, я говорила себе, что больше этого не потерплю, что твердо дам ему это понять. Пыталась наставлять себя на путь истинный. Разве мой дом – ночлежка? Кто-нибудь из моих друзей стал бы терпеть такое? Да и на детей это может плохо повлиять: в нашей прихожей, прямо у них на глазах, валяется какой-то бродяга, от которого разит вином и потом... На самом-то деле детям было наплевать. Посели я у нас слона, они бы нашли его славным, и все тут.

А терпела я его не по доброте душевной, и не из-за ложно понятого чувства долга и уж никак не из симпатии к нему, а только потому, что представляла себе, как он примет свое изгнание – совершенно безропотно, точно так же, как без малейшей благодарности принимал наше гостеприимство. Он ко всему был готов, все мог стерпеть. Избитый полицейскими, избитый клошарами, он появлялся истерзанный, с синяком под глазом, но ничуть не грустный. «Они опять меня поколотили», – объявлял он чуть ли не с торжествующим видом. Он считал себя большим ловкачом, потому что ему удавалось выжить.

Все несчастья сыпались на него якобы из-за отсутствия патента. «Ах, если бы у меня был патент!» – восклицал он с таким видом, как говорят: «Ах, если бы у меня была вера!»

– Но, Роже, неужели нет никакого способа добыть его, этот патент?

– Чтобы получить патент, нужно где-то жить, чтобы где-то жить, нужно иметь деньги, а без патента...

– А если я одолжу вам...

Все деньги он пропивал в забегаловках Центрального рынка, пропивал спокойно, пил – точно сосал грудь, ласково, невинно, полуприкрыв глаза, с лицом младенца-великана. Я видела это собственными глазами как-то утром, когда покупала на рынке овощи. Он допивался до белой горячки. Тогда у него крали деньги и метелки. Как-то вечером, когда у меня в гостях была Дениза Бурде, на которую мне очень хотелось произвести хорошее впечатление, он во время десерта ворвался в столовую, весь обвешанный метелками, с сияющим лицом. И стал гвоздем программы.

Время от времени он ложился в больницу, на неделю, на десять дней. Я навещала его, приносила апельсины. Он лежал чистенький, розовый, свежий, как младенец, с аккуратно подоткнутым одеялом, очень довольный собой. Это были его каникулы, его Ривьера. Он любил обсуждать сравнительные достоинства больниц Кошэн, Труссо, Сальпетриер...

– Вам бы бросить пить, Роже...

– А что мне это даст, можете вы мне сказать?

Нет, этого я сказать ему не могла. Забегаловка, зарешеченные окна полицейских камер, доброта одних людей, грубость других, побои, дармовой суп, неожиданные подачки, койка в больнице – другой жизни он не знал. И что тут можно было поправить?

– Но ведь приступы эти, должно быть, очень мучительные?

– Чудовищные! Кончится тем, что я протяну ноги, говорит доктор...

Он произносил это с лучезарной улыбкой.

– Вас это не пугает?

– А что тут страшного? Одна паршивая минута – и все кончено.

Так он представлял себе и всю свою жизнь: паршивая минута, которую нужно перетерпеть. Думаю, в конце концов эта минута истекла: он вдруг исчез окончательно. Я еще долго потом раздумывала, испытывала ли я к нему симпатию?

Франка

Сюзанна, Мария, Консоласьон – нежнейшее из имен, Мари-Лу – фламандка, Гислена, Франка, Луизетта, Мари-Анж – в течение пятнадцати лет вы по очереди были моими подружками. А потом появились Кати и Долорес, они еще дороже моему сердцу. Когда вскакиваешь ни свет ни заря и вылетаешь из дома (сумрачным зимним утром приятно волнует слух первые городские шумы, красивы тускло освещенные автобусы, спокойны кафе, где гарсон-марокканец, засучив рукава, поливает пол жавелевой водой или посыпает опилками... Потом все это переменится к худшему) и чувство у тебя такое, что тебе предстоит горы своротить, когда ты возвращаешься без сил, а на столе непрочитанная рукопись, телефон надрывается и хнычет больной ребенок, а вечером ты мечтаешь только об одном – поскорее вытянуть ноги на постели и дожидаться рассвета, который вернет тебе силы, тогда женщина, которая окажется рядом с тобой, обязательно должна быть тебе другом. И потому мы с ними выбирали друг друга по взаимной симпатии, не придавая слишком большого значения хозяйственным способностям, с их стороны зачастую весьма спорным, или жалованью, более чем умеренному, – с моей. В этой системе можно найти много уязвимых мест. Но как прикажете жить в трехкомнатной квартире, да еще когда двери вечно распахнуты, с человеком, который тебе не симпатичен? Сюзанна несколько раз обручалась. Консоласьон, отправляясь погулять в город, надевала мои платья. Мария ждала ребенка. Мари-Лу вышла замуж, и мне пришлось поселить у себя ее мужа; у Гислены бывали нервные припадки; Луизетта ни с того ни с сего ушла от нас 15 августа; Мари-Анж исчезла с частью моей библиотеки; Франка пила. Но все они были добры, любили моих детей и многому меня научили. Все они принимали участие в моей работе, по-своему проявляли к ней интерес. Поэтому я считаю их моими самыми близкими подружками. «Сколько страниц сегодня?» – спрашивала Сюзанна. Мари-Анж: «А конец хороший?» Луизетта, хлопотунья и чистюля: «До чего у вас красивый почерк!» Долорес же окидывала меня одним оценивающим взглядом, сразу чувствовала, что я работаю через силу, без радости, без вдохновения, запутавшись в бесконечных «зачем» и «почему», бросала небрежно: «Я тоже сегодня что-то не очень», – и разом возвращала мне спокойствие духа, приравнивая мой труд к самой жизни.

Сюзанна уехала с мужем в Африку, Гислена и Женестьева устроились в парикмахерскую. Мария бросила работу. О Мари-Анж мне ничего не известно. Франка вернулась обратно на завод.

Я очень любила Франку, хотя вид у нее был довольно угрюмый, в сорок пять лет она уже выглядела старухой: тонкое увядшее лицо, жидкие волосы, прекрасные глаза, красивый, глубокий голос и полная внутренняя опустошенность, какая бывает у тех, кто на собственной шкуре испытал нищету и не в силах ее забыть. К нам она пришла с завода, спасаясь от страшного нервного напряжения, которое была уже не в состоянии выдержать. Она рассказывала о заводском труде – о невыносимой кабале, мелочной тирании, жестокости, рассказывала сдержанно и талантливо. С Франкой у нас началась эра клеенок, клеенки заполонили все, даже мой письменный стол покрылся клеенкой. Она была родом из Северной Италии, дочь шахтера. В кофе теперь добавлялся цикорий, смесь подолгу томилась на огне. Франка хлебнула и армейской службы – была маркитанткой при американских частях в Германии. Как ее угораздило туда попасть? Объяснить она не могла, только смотрела на нас со снисходительной жалостью, как на детей, которые думают, что могут распоряжаться собой, и не ведают, что они – игрушка в руках истории. Как и Роже, она очень мало верила в свободу воли, обстоятельства захлестывали ее, она отдавалась на их милость. У нее не было особых склонностей, пристрастий, желаний – на определенной стадии нищеты только такая аморфность и спасает. Мы сразу заметили, что Франка, спокойная и даже апатичная по утрам,

когда она, усадив Венсана себе на колени, мечтательно смаковала кофе, к вечеру впадала в сильнейшее возбуждение. Она объясняла свое состояние мигренью. Мы в своей наивности долго принимали это за чистую монету, пока в один прекрасный день не попросили ее вынести к столу трехмесячную Полину и не увидели, как она шествует, покачиваясь, с ребенком на руках и ласково подбрасывает девочку (чтобы скрыть неловкость), перевернутую вверх ногами. Я испугалась последствий. Я умоляла ее бросить пить. Она прятала бутылки с ромом в ящике среди картошки, под матрасом, в корзине под бельем. К себе она относилась с таким же пренебрежением, как к фартукам, которые быстро бывали измяты, заляпаны, разодраны, – как к вещи, которая ей не принадлежит. Она никогда не отдыхала, не просила об отпуске. Воскресенья для нее не существовало, дни недели не имели названий. Лишь время от времени, изнуренная работой и пьянством, она просто не вставала с постели. Наступил день, когда мне пришлось сказать ей:

– Франка, или вы бросите пить, или нам придется расстаться.

Она повернула ко мне свое трагическое лицо, беспомощно пожала плечами.

– Франка, хотите, я найму кого-нибудь на несколько месяцев, а вас мы устроим в больницу, чтобы вы прошли курс лечения?

– Зачем? – проговорила она еле слышно.

– Но ведь у нас вам было хорошо, мы прекрасно ладили, вы привязались к детям...

Конечно, это так, словно говорил ее мрачный, безнадежный взгляд, но что значат все эти чувства по сравнению с потребностью забыться, исчезнуть, самоуничтожиться? Даже собственные чувства ей тоже не принадлежали. Нищета лишила ее всего, оставив лишь какую-то безликую доброту, смиренную жалость ко всему, – в своей обездоленности она даже внушала уважение. Она ушла от нас. Позднее я узнала, что, когда ее временный спутник поставил ей такой же ультиматум, она вот так же ни словом, ни жестом не попыталась его удержать. Да и как можно удерживать то, что не считаешь своим? Она стоит у меня перед глазами – словно изваяние из черного камня, забытое посреди пустыни, изъеденное эрозией. Чувства, желания, надежды – все кануло в песок. И только что-то трепетало внутри – может, это душа?

Доставая тарелки из буфета, Франка роняет одну, и та разбивается вдребезги.

– Франка! Осторожнее!

– Что такое тарелка? – говорит она со своей суровой кротостью.

Поначалу это кажется смешным. Потом становится не до смеха. Что такое жизнь, с таким же успехом могла бы она спросить. Ее жизнь? Она ценит ее так же мало, как эту тарелку. Чудовищно. Но если бы вдохнуть веру в эту загубленную, исковерканную жизнь, в этот остов – какое пламя бы вспыхнуло! И мало-помалу начинаешь завидовать ее отрешенности и ощущать рядом с ней свою материальность, свою приземленность, прикованность к вещам. Вот она моет посуду или стирает белье – полночь, настроение мечтательное, она слегка навеселе.

– Франка, вы мало спите.

– Ну и что? – отвечает она с искренним удивлением, и я не решаюсь сказать, что она и мне мешает спать. Ну и что?

Равнодушие

После Франки я стала размышлять о равнодушии. «Святое равнодушие» Франциска Сальского. Само слово поначалу обескураживает. Мы так привыкли путать веру с душевным порывом. Конечно, душевный порыв – это прекрасно... Но что дальше? Ясность вносит Жак одной случайной фразой: «Когда говорят, я был слишком добр, это значит, что ты был добр недостаточно». Если не рассчитываешь на благодарность, то по крайней мере хочешь видеть реальную отдачу. Ты одолжил деньги, убил время на утешения и советы, все так, но ты хочешь видеть плоды, конкретную пользу. Конкретную и ощутимую. Душевный порыв – это часто разновидность стяжательства.

Кошка

– Долорес, мне нужно с вами поговорить, – объявляет Жак в девятом часу вечера, когда Долорес уже предвкушает близкое освобождение.

Взволнованная и смущенная, она идет за ним в столовую. Жак редко вмешивается в домашние дела, но если уж вмешивается, то самым ошеломительным и непредсказуемым образом. Я в смятении; мы усаживаемся в столовой, выставив детей за дверь.

– Долорес, вы знаете, как я ценю вас, – с серьезным видом начинает Жак. – Вы человек организованный, вы добры, мы к вам очень привязаны...

Этот поток комплиментов еще больше усугубляет наше волнение. Что-то на нас надвигается.

– Но у всех у нас есть недостатки. Вы, приходится признать, бываете резковаты... иногда позволяете себе слишком сильные выражения...

Долорес вспыхивает. Мы вопросительно смотрим друг на друга. Кто доносчик? Полина? Альберта? Долорес наподдала как следует кому-то из них? Или пропесочила, не стеснясь в выражениях?

– И иногда, понимаете, вы можете больно задеть кого-то особо ранимого... к тому же вы часто повышаете голос.

– С детьми... – начинает Долорес.

– Кто из них?! – одновременно восклицаю и я. Жак примирительно поднимает руку.

– Речь не о детях, – мягко говорит он. – Речь о кошке.

– О кошке?

Мы ошеломлены.

– Видите ли, Долорес, наша кошка начала гадить.

– Истинная правда, – горячо подхватывает Долорес. – Только вчера эта паршивка описала Полинины туфли.

– Так вот, Долорес, наша кошка, как бы это сказать, начала гадить с тех пор, как здесь появились вы.

На лице у Долорес неподдельное изумление. Я давлуюсь в приступе неудержимого смеха.

– Кошка как человек. Ей нужна ласка. Я-то знаю, Долорес, что у вас золотое сердце, но Тэкси этого не знает. Надо дать ей возможность это понять. Вы пугаете ее своими криками, не даете поваляться на кровати, и вот неизбежный результат: у кошки появился комплекс.

– Мать честная! – В восклицании Долорес прорезывается акцент, в котором больше от Бельвиля, чем от Мадрида.

– Кошка страдает без ласки. Она хочет привлечь ваше внимание, хочет отомстить. Она начинает гадить.

Мысль о мщении нравится Долорес. Это понятие ей близко.

– Так это она мне хочет нагадить? – спрашивает Долорес.

– Именно. И вам надо...

Дети, сгрудившись в спальне, с жадностью подслушивают у двери; выходя, я чуть не сбиваю их с ног.

– Что случилось? Что она сделала?

– Папа устроил ей взбучку, – объясняет Полина с назидательным видом. Альберта очень бледна.

– Бедная Долорес!

– Нет-нет, папа вовсе ее не ругает, он просто кое-что ей объяснил.

– Что объяснил?

– Как вести себя с кошкой.

– А я вот тоже буду везде писать, – заявляет Венсан, который все понял, – и тогда она будет звать меня не паршивцем, а мсье.

– Тебе это доставит удовольствие? – спрашивает Полина.

– Ну, если не каждый день...

В столовой продолжается обсуждение. Долорес всегда готова пойти навстречу, стоит только воззвать к ее сердцу и разуму.

– А что такое комплекс, Жак?

Жак объясняет. Одиннадцать часов, я иду спать.

Долорес – кошке, развалившейся на разобранной постели:

– Брысь отсюда, паршивка!

И тотчас же:

– Ой! Извиняюсь! Спускайся, моя милая кошечка.

Мы переглядываемся. Сдерживаем улыбку. Дань уважения хозяину дома.

У Тэкси родился котенок. Всего один. Мы назвали его Йо-Йо. Тэкси перестала гадить. Долорес:

– А ведь правда, у нее был комплекс.

Она смотрит на Жака, как на чародея.

Басни

Альберта, когда была самой младшей в семье при двух старших братьях, вечно жаловалась на все и на всех.

– Даниэль ущипнул меня, Венсан взял мой карандаш...

Одержимая своим баснетворчеством, она как-то раз договорилась до такого:

– Кошка обругала меня дрянью!

Наш дом в Ге-де-ла-Шен стоял на опушке леса; час славы его пробил, когда кабаниха, преследуемая собаками фермера, выскочила на лужайку. Дети были в полном восторге. Альберта потом рассказывала:

– Плибежал кабан, плибежал маленький кабанчик. Кабан убил собаку мсье Блосса.

Заметив наш интерес к рассказу и доверчивость, она мимоходом добавила:

– Плибежал слон.

* * *

Жиль и Пьеретта пришли к нам обедать. Случайно я выдвигаю при них ящик, набитый нераспечатанными письмами, счетами, квитанциями, налоговыми декларациями, исполнительными листами.

– Я думал, что такое можно было увидеть только во времена Бальзака, – говорит Жиль с восхищением и ужасом.

Мы несколько смущены, как будто открыли в себе талант, о котором и не подозревали. Все хорошо в меру.

Конфирмация

Без четверти шесть Венсан спокойно объявляет:

– В шесть я должен быть в церкви.

Долорес, подняв голову от газеты, тоже спокойно:

– Зачем?

– У меня конфирмация.

– Батюшки!

Газета падает. Долорес бледнеет.

– Почему ты раньше не сказал?

– Я забыл.

На причитания времени не остается. В мгновение ока Венсан вымыт, причесан. Приличных брюк нет, делать нечего, приходится влезать в джинсы.

– Мигом в церковь!

– Мне нужен крестный, – заявляет Венсан голосом святой невинности.

– Боже мой, папы нет дома! Боже мой, осталось пять минут! Боже мой...

В этот момент из своей берлоги вылезает Даниэль, лохматый, длинноволосый, рубашка в цветочек, красный муаровый жилет.

– Отправляйся с ним в церковь!

– Это противно моим убеждениям, – сообщает наш идейный юнец.

Глаза Венсана наполняются слезами.

– Значит, я останусь без крестного?

Даниэль ворчит, они уходят. Многолюдное сборище, атмосфера торжественная. Матросские костюмчики, галстуки-бабочки, отцы, деды, дядя, преисполненные сознания своего долга. Даниэль с ужасом осознает, что ему придется в своей рубашке в цветочек прошеествовать перед рядами прихожан в строгих костюмах. Он судорожно застегивает куртку – оторваны две пуговицы. Надо бы попросить у кого-нибудь расческу, минута колебания – все, уже поздно. Не помня себя от смущения, он следует за юным конфирмантом в джинсах, сопровождаемый удивленными, возмущенными, оскорбленными взглядами. Венсан как ни в чем не бывало преклоняет колени, отвечает на все положенные вопросы и возвращается на свое место, даже не подозревая, в какое волнение они повергли весь приход. Все это сообщает мне вечером возмущенный Даниэль.

– Ну что стоило предупредить!

– Что ты натворил, несчастный!

– Какая важность?! – Венсан таращит свои прекрасные глаза. – На меня снизошла благодать.

Священник, перед которым я на следующий день рассыпаюсь в извинениях:

– Не огорчайтесь, дочь моя, по-моему, все прошло очень мило. (Пауза.) У Монсеньора, конечно, был шок...

Венсан – отцу, который его отчитывает:

– В любом приходе есть свой юродивый.

Что это, юмор?

Катрин

Катрин (шестнадцать лет) была предшественницей Долорес. За посуду она принималась, только когда не оставалось ни одной чистой тарелки. Кухня, где воздвигнуты чудовищные пирамиды, становится ареной внезапных катастроф – обвалы, которые ее сотрясают, сравнимы по мощи с тектоническими процессами.

– Катрин, надо вымыть всю эту посуду.

– Сию минуту, Франсуаза.

Я удаляюсь. Возвращаюсь час спустя – из кухни доносятся мелодичные звуки флейты. Открываю дверь. Взгромоздившись на высокий табурет, окруженная, как скала вздымающимися валами, грязной посудой, Катрин – раздутые щеки пылают, волосы венчиком вокруг прелестной мордашки музицирующего ангелочка, – Катрин играет на флейте.

– Вы только послушайте, Франсуаза! Я сама подобрала песенку «Моя малышка чиста, как ручеек». Правда красиво?

– Восхитительно, Кати!

Я осторожно закрываю дверь.

– Это значит, ей у нас хорошо, – говорит Жак. – Что может быть прекраснее флейты? Надо пригласить к ней учителя сольфеджио.

Консоласьон

Консоласьон уходит от нас. Как грустно звучит эта фраза: «Консоласьон уходит от нас...» Ей двадцать три года, она прелестна. Пришла забрать вещи. Одна из подруг обещала ей помочь на первых порах. На ней зеленые босоножки, как две капли воды похожие на мои. Консоласьон проследила за моим взглядом, на щеках сквозь смуглую кожу проступает румянец, и, ни слова не говоря, она бросается мне на шею. Прощай, Консоласьон. Ты все делала грациозно, даже орудовала пылесосом.

Газель. Зеленоокая. С дурным вкусом, но и это ее не портило. Четыре года спустя мы встретились у моего парикмахера.

– Как дела, Консоласьон?

– О! Прекрасно!

Она увешана чудовищными побрякушками, вся в мехах; красива, как зверь, попавший в клетку. Мы выходим вместе.

– Нам по дороге?

– О! Тут у меня маши...

Рядом с ней тормозит роскошный лимузин, шофер распахивает дверцу. Она чуть краснеет, ни слова не говоря, бросается мне на шею и исчезает. Милая Консоласьон!

* * *

Венсан. Я думаю о человеке, который первым начал петь.

Я. И что же?

Венсан. Говорить – это я понимаю. Человеку хочется есть или пить, он рычит, как зверь, потом появляются слова. Но ты подумай о том человеке, который запел, – пещера, кругом дикие звери, страшно...

Надо уметь слушать детей. Молча.

Тетушка

Тетушка (*девяносто лет*). Мне скучно, у меня ужасное настроение, а тут эти мысли о смерти – о чем еще, скажите на милость, думаешь в моем возрасте? Я сказала об этом, поплакалась мадам М., и знаете, что она мне ответила? «Я пришлю к вам аббата Анри». Ничего не скажешь, самый подходящий человек, чтобы настроить на веселый лад.

Беспорядок

С каждым годом я становлюсь все безалаберней. Опаздываю на три года с уплатой налогов, на три месяца с ответом на письма. Все меньше и меньше думаю о том, как жить на старости лет, о том, что надо откладывать на будущее, а вот в двадцать лет я об этом думала. Запросто могу пригласить друзей в ресторан на последние деньги, бренчу на гитаре, не обращая внимания на растущую гору грязного белья, устраиваю вместе с детьми «поэтические вечера» при свечах, вместо того чтобы заставлять их зубрить латынь: мы с ними хрустим печеньем и декламируем все подряд, от Гюго до Сандрара. Я забываю о «нужных» коктейлях и вернисажах, чтобы сбежать в кино на «Титанов» – второсортную стряпню на античные темы. Просто немыслимо, какой я стала безалаберной со времени моего обращения.

Тут должна быть какая-то связь.

А это утро в день обращения – оно как первое чудесное школьное утро: аккуратные стопки тетрадей, чистые страницы, благие намерения! Чистая совесть, преданный взгляд, обращенный к Учителю, строгому и серьезному у своей голубой доски. «Так хорошо? – Можно и лучше». Эта вечная оценка, изнурительное ее присутствие во всех твоих усилиях, во всех твоих неудачах. Ты пишешь, и пишешь, и пишешь, ты драишь пол, крутишься у плиты, проглатываешь книгу, идешь на митинг, идешь в церковь, одеваешь нагих, утешаешь скорбящих... «Можно и лучше». И исповедуешься с сокрушенным сердцем: «Мне не хватает терпения, я один раз пропустила мессу, я потратила деньги на глупости, я...» – тут чего-то не хватает, все не совсем так: тетради в кляксах, почерк никуда не годится, ошибки, пометки...

Трагикомические недоразумения. Вместо того чтобы терпеливо вникать во что-то прекрасное, читаешь какую-то развлекательную ерунду...

– Святой отец, я читала плохие книги, потеряла время...

– Дитя мое, вы осквернили дух ваш, тело есть Божий храм, его надо блюсти в чистоте, такое чтение предрасполагает к греху...

Вот вам пожалуйста, он решил, что я увлеклась порнографией! Как тут объяснишься?

Я говорю себе, просыпаясь: что мне предстоит сегодня? Прежде всего, конечно, надо писать. Прочитать две рукописи. Устроить постирушку. Полину – к зубному. Покупки, как и вчера, приготовить обед, как и завтра, весь день заполнен, набит битком, как хозяйственная сумка, где чего только нет: и помидоры, и книжка, и стиральный порошок, и шариковая ручка; а в итоге – недовольство собой, уныние, упадок духа, они обрушиваются на тебя с приходом ночи и прихлопывают, словно крышка гроба. Ночь – время моих тревог, я люблю ее только по утрам. И это называется жизнью христианки?

Что ж, я делаю что могу, мне, как говорится, «не в чем себя упрекнуть». Как это грустно, однако, когда упрекнуть себя не в чем. Это пустота. Так что же делать? Мученичество – оно не для каждого. Кроме того, нужен повод. Нет, это не выход. Или возьмите отшельников. Они молились, потом охотились на кузнечиков. Готовили отвары из трав, между делом могли вынуть занозу из лапы у льва, но такое им, наверное, выпадало не каждый день – а дальше что? Медитации перед черепом, толстая книга, читаная-перечитаная (на картинках редко бывает больше одной книги)... На шесть-восемь часов можно растянуть. А отшельники вроде бы очень мало спали. Так не говорили ли они себе по ночам в своих пещерах: «Святой Иероним или святой Симеон *смогли бы и лучше*»? Или: «Что толку от такой жизни? Лучше бы мне остаться в городе – задал бы я как следует этим риторам и посвятил себя трудам праведным» (святой Иероним после долгих лет отшельничества покинул свою пустыню и обрушился на досаждавшие ему софизмы риторов). Возможно, святой Иероним – особый случай, были и другие отшельники, бодрые, веселые, невинные, которые собирали гербарии и учили льва смешным трюкам («прыгни в честь Нерона» – лев не дви-

гается, «прыгни во имя Иисуса Христа» – лев прыгает и получает кузнечика в награду). Но где я возьму время, чтобы собирать гербарий?

Работа превращается в навязчивую идею. Буду ли я завтра в состоянии работать? Или мне что-то помешает: мигрень, депрессия, телефонный звонок, неожиданный гость? Я просыпаюсь и ощупываю себя. Ну как, пойдет работа? Или нет? И пока я чищу зубы, мне лезет в голову не одно, так другое: долг, который нужно вернуть, письмо, на которое нужно ответить, дело, с которым нужно покончить. Ладно, ничего не поделаешь. Стиснем их (зубы). За работу – пусть у тебя мигрень, и тоскливо на душе, и одолевают заботы, как гудящая мошкара. Затяни тихонько: «Вперед, воинство Христово» или «В долине мрачной я не убоюсь смерти» – и все эти призраки рассеются (счет в банке, небубренные постели), и на тебя снизойдет вдохновение. Только всякое вдохновение быстро улетучивается, когда начинаешь ворочать тяжелыми, как булыжники, словами, их не поднять, они скатываются обратно: Сизифов труд. Есть во всем этом что-то языческое.

Когда камень скатывается в сотый раз – скорей домой, магазины, уборка, а рядом Долорес или Франка на каждом шагу проявляют полное свое неумение, – тогда тобой овладевает вторая навязчивая идея: порядок. Против этого трудно бороться. Во Фландрии эту идею впитывают с материнским молоком. Я вижу пыльный буфет, тусклый пол, раздавленный пластмассовый автомобиль в углу, обглоданную собакой кость, загаженную птичью клетку и впадаю в отчаяние. Мне в жизни с этим не справиться. Когда я навожу порядок в своих бумагах, его нет в доме. Когда порядок в доме, плохо идут дела на кухне: готовые котлеты да пюре из концентрата. Когда я пришиваю пуговицу, письмо остается без ответа, урок невыученным, посуда невымытой. Попробуйте сохранять хорошее настроение, распевать псалмы и жить в согласии с Богом, когда у вас под кроватями горы пыли.

– У меня не хватает времени, ни на что не хватает времени...

– Да-да, – подхватывает Полина. – Будь ты посвободнее, ты бы научилась играть на гитаре и смогла бы нам аккомпанировать, когда мы поем.

В душе у меня все время идет борьба. Порядок или хорошее настроение? Мастика или радость? А как же с чувством долга? И в чем мой первейший долг?

Я научилась играть на гитаре (с грехом пополам) и принесла в жертву порядок.

Жак вносит свою лепту.

– Что такое долги? – рассуждает он. – Это значит, у нас есть кредит.

Общество «Католическая взаимопомощь», которое, похоже, составило о нас весьма лестное мнение и считает нас чем-то вроде Армии спасения, посылает странных подопечных: оасовца, сбежавшего из тюрьмы, престарелую даму, которой нечем платить за квартиру. Жак делает широкий жест:

– Да не оскудеет рука дающего.

Но все же объявляет оасовцу, что сам он маоист, – чтобы равновесие не было нарушено.

На следующий день приходит очередное (двадцатое по счету) напоминание о просроченных платежах и неуплаченных налогах. Я научилась без трепета смотреть на розовые и зеленые листки. Наша дорога к Богу явно лежит через любовь и легкомыслие.

Время от времени на меня опять накатывает. Я разбираю бумаги, делаю список не возвращенных нам книг. И все чищу, чищу остервенело, без передышки, с утра до вечера. Но в глубине души чувствую, что это грех, потому что расстроенной Полине («а ведь мы могли бы пойти в зоопарк и немножко порисовать там...») отвечаю не без угрызений совести:

– Ты права. Обязательно пойдем в следующее воскресенье.

Фатальное «можно и лучше» отступает. Можно, конечно, можно лучше, но, в конце концов, жизнь по-христиански – не школьный экзамен. Я теперь могу упрекнуть себя очень во многом. Считаю, что нравственно совершенствуюсь.

* * *

Малышом Даниэль был на редкость простодушен, в чем, однако, неведения было больше, чем невинности. Впервые исповедуясь, на вопрос священника о «дурных привычках» он ответил утвердительно и был удивлен тем, с какой серьезностью было воспринято его признание, этим удивлением он и поделился со мной.

– А у тебя что, есть дурные привычки?

– Есть, – признался он немного смущенно. – Я грызу ногти. Но я не знал, что это грех.

Приятелю, который спрашивал его с лукавым ехидством не слишком искушенного в этих вопросах ребенка:

– Ты знаешь, зачем женщина раздевается догола перед мужчиной?

Он ответил со своим обычным мечтательным благодушием:

– Это значит, что она ему доверяет.

Даниэль был прелестным ребенком. И превратился в сносного подростка. А это, я думаю, еще труднее.

Прохожий

Николя торговал вразнос газетами и старыми книжками. Иногда проводил среди домохозяек опросы: почему они предпочитают картофельную муку сгущенному молоку, суп из пакетов – бульону в кубиках... Он зашел к нам да так и остался. Дать ему приют – больше мы ничем помочь не могли. Он заходил к нам перекусить, всегда неожиданно (если его приглашали, он не являлся), и говорил, говорил без конца. Он считал себя неординарной личностью. Любил посещать психиатров; каждый визит к врачу превращался в сражение, из которого он неизменно выходил победителем, сумев сохранить в неприкосновенности свой невроз, которым похвалялся как боевым трофеем. Одно время он где-то служил. Но не выдержал.

– Я вел себя как псих, как настоящий псих, – говорил он с гордостью. – Я упустил единственный шанс в своей жизни.

«Постоянная работа» – он мечтал о ней денно и ночью. Старался найти ее с отчаянным упорством. И с таким же пылом потом старался от нее отделаться. Он был образован, умен. Он находил то, что искал. Ему заказывали перевод, книгу... Тут-то и начиналась трагедия. Он так ясно видел идеальный, верный, изящный перевод, видел совершенную книгу, где сюжет был бы разработан с исчерпывающей полнотой и в то же время изложен легко, занимательно, где полеты вдохновения подкреплялись бы документальной точностью, а ученость не гасила бы искр остроумия, – и это видение парализовало его творческий порыв. Он звонил нам. Звонил часто: по утрам, когда дети наконец уже отправлены в школу и мы, вздохнув с облегчением, еще полные сил, готовимся взяться за работу и только ждем, ждем с тревогой, чтобы все заботы и тревожнения осели на дно и родник вдохновения стал прозрачным, – а он словно подкарауливал, угадывал этот хрупкий миг умиротворения и тоже хотел вкусить его, завладеть им силой, раз мы не желаем отдавать добром.

Как же отчаянно мы порой цеплялись за этот миг! «Поговори-ка с ним ты», – просила я Жака, когда у меня не было больше сил слушать эту нескончаемую, монотонную повесть о его невзгодах: о переводе, где он никак не мог подобрать верную интонацию, о «мерзости», что произошла этой ночью, о друзьях, которые дали понять, что сыты по горло, да-да, сыты по горло его несчастьями. Жак брал трубку, он был терпеливее меня, покорнее, но по тому, как он едва заметно напрягался, как в уголках его губ возникали морщинки, я чувствовала, что уходит порыв вдохновения, уходит утренняя свежесть, и иной раз, приходя в ярость от самой этой покорности – ярость хозяйки при виде растяпы, роняющего тарелку или чашку из любимого сервиза, – я выхватывала у Жака трубку, и тут я бывала лаконична, холодна, я отказывалась делиться единственным, что у нас было, – пусть оставит нам эту благословенную минуту, минуту, когда мы с головой погружаемся в освежающие воды творчества... Но разумеется, поскольку мы не уступали, поскольку отказывались делиться с ним этими минутами, он продолжал упорствовать, прекрасно зная, что совершает, – загрязняет наш маленький оазис, разбивает наше хрупкое фарфоровое чудо, – и действительно, какое мы имеем право на это фарфоровое чудо, на прелесть утра, на порядок, на гармонию, когда другие подышают от невозможности даже помыслить обо всем этом? И когда он был уверен, вполне уверен, что преуспел в своем намерении, он вешал трубку, этот посланник дьявола.

Мы говорили друг другу несколько принужденными голосами: «Так. Ну теперь за работу. Привет». И еще раз: «Поработай как следует». Или: «Хорошей работы», – как будто ничего не произошло. И избегали смотреть друг на друга.

Ибо, вне всякого сомнения, нечто все же происходило. Происходило каждый раз одно и то же – он все равно каким-то образом оказывался прав. Конечно, он чокнутый, неврастеник, неистощимый болтун, он был озлоблен и любил расставлять ловушки. И все же каким-

то образом оказывался прав, в этом-то и крылась причина его невроза, тут был ключ к его неуравновешенности, неблагодарности, постоянным ссорам с работодателями, с друзьями, с квартировладельцами. Наш труд никак не соответствует той ослепительной мечте, которую мы носим в себе, на каждом шагу происходит что-то отвратительное, мы предаемся любви, не любя, говорим, не веря в то, что говорим, и друзьям наплевать друг на друга, они боятся, чудовищно боятся, что их тоже настигнет зараза, что им тоже придется открыть глаза, и их покой, их хрупкое спокойствие разом рухнет...

Время от времени выдается вечер, когда все как-то налаживается, и сияющая Полина, провожая к нам Николя, кричит:

– Я вас сейчас обрадую – пришел Николя!

И тут мы, конечно, улыбаемся. Он тоже улыбается, и его бледное лицо палача, приговоренного к казни, слегка розовеет. Он играет с Полиной, играет с собакой. Работа сдвинулась с мертвой точки, все обретает смысл – дети, дом, собака – все предстает в сиянии возродившегося великодушия, нахлынувшего, как кровь приливает к щекам, и страх исчезает без следа, словно никогда и не существовал, царствие небесное распаивает перед нами врата – там есть место для каждого, для нас, для Николя. В такие вечера он молчит, его дешевого демонизма нет и в помине. Он может даже похвалить ужин, будет смотреть телевизор и на какое-то мгновение почувствует себя уютно, почти как дома – это он-то, которому всегда и везде не по себе. И мы тоже почувствуем себя уютно. Вечность заключена в мгновении, здесь поселилась любовь, ее присутствие так ощутимо, что сердце колотится как бешеное, дыхание прерывается, – ведь ожидание было таким долгим.

Не накалывайте бабочек на булавки. Проследите за ними взглядом и ждите, когда они вернуться. Они вернуться, поверьте. Только когда?

Тереса де Хесус рассказывала, что пять или шесть лет она жила без «твердого упования». Пять или шесть лет! Такая великая святая!

Мадам Жозетт

Мадам Жозетт живет в башне. Она занимает квартиру на Страсбургском бульваре, на восьмом этаже, откуда не спускается никогда. Это маленькая, хрупкая женщина без возраста, с невыразительным лицом. Мадам Жозетт – специалист по уходу за волосами. Восстанавливает их, укрепляет, стимулирует рост отварами ароматных трав. Уже больше пятнадцати лет я время от времени посещаю ее. За эти годы мадам Жозетт ни капельки не переменялась. Отрезанная от мира, словно монашенка, она любит поучать, временами ворчит, ее выпуклые голубые глаза глядят уверенно, нос чуть свернут набок, губы поджаты. Привлекательной ее никак не назовешь. Но она, похоже, этим даже гордится. Зачем ей быть привлекательной – это лишнее.

Да и обстановка, в которой она живет, тоже не отличается привлекательностью, есть в ней что-то монастырское, но без всякой таинственности. Мещанский аскетизм. Три никелированных кресла для клиентов перед раковинами для мытья головы всячески подчеркивают, что тут вовсе не модный парикмахерский салон, а скорее врачебно-гигиенический кабинет.

– Волосы, – утверждает мадам Жозетт, – очень много значат в современном мире. Директор компании уже не может позволить себе быть лысым.

Интересно, откуда она это почерпнула? В комнате имеется также шкаф с нумерованными ящичками для трав (все по науке, никакого ведовства), пластмассовые жалюзи на окнах, множество растений и картина с изображением горы Ванту. В спальне, куда я дважды заходила позвонить по телефону, стоит лишь маленькая узкая кровать, стол красного дерева и этажерка в бретонском стиле, где выставлены сувениры: деревянный ящичек с выжженным узором, куклы – в национальных костюмах или склеенные из ракушек, пожелтевшие фотографии, почтовые открытки – среди которых я узнаю свою, посланную три года назад из Нормандии, – и книги. В кухне – буфет в стиле модерн, посуда, частью выписанная по рекламным каталогам, частью – полученная как бонус постоянной покупательницы, маленький пластиковый столик, табуретка и плитка, на которой готовятся отвары из трав. В ванную я не входила никогда.

Продукты для мадам Жозетт покупает соседская девочка. Сама мадам Жозетт выходит из дома раз в месяц...

Выходит, чтобы посетить ясновидящую, к которой питает полное доверие. Что же она у нее выведывает?

– О, я просто слушаю ее, и все. Она говорит о будущем, о прогрессе науки... Думаю, мы вскоре сможем общаться с духами. Вам смешно? А ведь в этом нет ничего сверхъестественного. То же самое, что телефон. Они ведь здесь, духи, они вокруг нас, надо только найти способ... Само собой, я спрашиваю у мадам Гюльбанкьян совета, куда лучше вкладывать те небольшие суммы, которыми я располагаю.

Вот такая она, мадам Жозетт, солидная дама, исполненная здравого смысла, весьма практичная, по-видимому, не только во взаимоотношениях с потусторонним миром, но и в своих биржевых спекуляциях. Она каждый день просматривает курс акций, покупает их и продает, отдавая распоряжения по телефону, так что ее общение со своим маклером мало чем отличается от контакта с духами.

– Это так удобно, – говорит мадам Жозетт, массируя чью-нибудь голову, – совсем не иметь личной жизни.

Мадам Жозетт пережила любовную драму. Десятилетии лет, в ту пору, когда она мечтала выучиться на врача, она познакомилась с одним студентом, своим сверстником, Жоржем. И безнадежно влюбилась. По ее словам, она никогда не была красива и к тому же чувствовала, что не в ее характере покорять кого-то. Они вместе с Жоржем повторяли лекции,

готовились к экзаменам – он выдержал, она провалилась. Это тоже было «в ее характере». Он сблизился с другой девушкой, по имени Моника.

– Одно удовольствие было видеть их вместе.

И она не желала лишать себя этого удовольствия, ходила с ними в кино, готовила им ужин.

– У меня была семья, я была счастлива.

Жорж женился на Монике, Жозетт была свидетельницей на свадьбе. Родился ребенок, Жозетт стала крестной матерью. Началась война, Жорж как еврей был депортирован. Жозетт приютила в своей крохотной квартирке безутешную Моника и младенца.

– Люди чувствуют себя несчастными, когда им есть что терять, – говорила она, – у меня же никогда ничего не было.

Она кормила Моника и ребенка, посылала посылки Жоржу и без усталости намыливала головы в салоне красоты. Моника сказала одной из их общей знакомой:

– Жозетт добрая, но холодная как лед.

– Это правда, – подтверждает мадам Жозетт, – я не такая чувствительная, как она. К сожалению.

Жорж вернулся, потом Жорж умер.

– Это ужасно, сколько пережила Моника. А я все же уверена, что Жорж нас не покинул. Взгляните на девочку, как она на него похожа! В природе столько необыкновенного, нужно только уметь видеть!

Мадам Жозетт не прибегает к услугам своей ясновидящей, чтобы вступить в контакт с Жоржем.

– Во-первых, – объясняет она, – он, наверное, уже пребывает среди блаженных душ, и я не хотела бы его беспокоить. И потом, мне кажется, это было бы не очень деликатно по отношению к Монике.

На этажерке фотографии Жоржа нет. Это лишнее, полагает мадам Жозетт.

Мадам Жозетт обходится без телевизора. Она читает газеты – прилежно, от первой до последней строчки, и память ее не тревожат никакие личные воспоминания. Когда я сообщаю ей, что еду в Бордо выступить с лекцией, она, намыливая мне голову, неспешно рассказывает:

– Бордо – красивый город, не слишком гостеприимный, в нем столько-то тысяч жителей. Дома в основном трехэтажные, с садиком позади дома. Жительницы Бордо кокетливы и портних предпочитают магазинам готового платья. Исторически это...

Я прерываю ее монолог:

– Вы бывали в Бордо, мадам Жозетт?

– Чтобы узнать город, совсем не обязательно в нем бывать, – отвечает она.

Мадам Жозетт держит в голове адреса целой армии врачей, иглоукалывателей, хиромантов; она может посоветовать, куда послать детей на каникулы, где купить абажур, у кого брать уроки игры на гитаре и где научат оказывать первую помощь. Любовь к чтению, отличная память и одиночество – с этим можно найти решение любой проблемы.

– Я люблю свою работу, – говорит она. – Руки заняты, есть время подумать.

И еще:

– Нет, телевизор я покупать не буду, он мешает мне думать.

Думать о чем, мадам Жозетт? Мне очень хочется задать этот вопрос, но я не решаюсь, боюсь, что он покажется ей бестактным.

Когда я удивляюсь ее затворническому образу жизни («Неужели у вас никогда не возникает желания пойти в кино? Окунуться в гущу жизни?») – «Я читаю все газеты, мадам, я общаюсь с клиентами, мне этого достаточно», мадам Жозетт любит ссылаться на анекдот, известный со времен битвы на Марне. Пьера, шофера генерала Жоффра, без конца пресле-

довали одним и тем же вопросом: «Когда же кончится эта война? Что говорит генерал? Не говорил ли он с вами об этом?» Но генерал упорно молчал. И все же в один прекрасный день на этот традиционный вопрос Пьер ответил: «Да, он говорил со мной об этом». – «И что он сказал?» – «Он сказал: “Пьер, когда же эта война кончится?”»

Мадам Жозетт не верит, что опыт может чему-то научить.

– Я всегда голосовала против президента де Голля, – говорит мадам Жозетт.

– Почему?

– На вопросы, которые он задает, нужно отвечать либо «да», либо «нет», а вопросы сформулированы непонятно. Они противоречат правилам грамматики. Разве человек, не знающий грамматики, может быть хорошим президентом Республики?

Что это – бесхитростный и светлый ум? Или непробиваемая, потрясающая глупость? Не знаю, не могу понять. Ее слова падают тяжело, как камни в воду, но круги от них расходятся во все стороны.

Рене, дочь Жоржа, крестница Жозетт, выходит замуж за молодого немецкого еврея, набожного – во всяком случае, из очень набожной семьи. Рене и ее мать мечтают о пышной свадебной церемонии: с органом, шлейфом, торжественным благословением. Кюре требует, чтобы Гюнтер крестился. Гюнтер колеблется. Когда он является к мадам Жозетт с визитом, то слышит следующее:

– Я, господин Гюнтер, неверующая и все жду, когда вера осенит меня. Но менять веру вот так, ни с того ни с сего, по-моему, глупо. Вы же не станете менять родственников, не так ли? Поверьте, обстоятельства могут изменить нас, но не мы обстоятельства. Если вам написано на роду стать католиком, вы им станете. А если Рене заставит вас сменить религию, как меняют пиджаки, вы будете венчаться в чужом пиджаке, вот и все.

Гюнтер отказывается креститься. Венчание состоится в ризнице. Рене и ее мать Моника рассорились с мадам Жозетт.

Смерть тетушки

Тетушка так мало менялась, во всяком случае, для нас она дряхлая совсем незаметно, и мы давно привыкли считать нашу тетушку – капризную, деспотичную, великодушную, злую на язык, упрямую, с внезапными порывами детского восторга («Так вы и вправду, на самом деле меня любите?»), за которыми следовала какая-нибудь высказанная с наслаждением гадость, черный юмор на грани садизма, забавную, изрекающую возвышенные глупости, одержимую стремлением к независимости, как навязчивой идеей, от которой она не желала отказываться, несмотря на все возрастающую физическую беспомощность, – мы привыкли считать нашу тетушку бессмертной. Ей было девяносто три года.

Главной чертой ее характера была, несомненно, гордость, гордость, возведенная в такую степень, какая уже граничит с глупостью. Чем больше она нуждалась в других, тем больше старалась стать совершенно невыносимой – это было для нее вопросом чести.

Жаку:

– Ты прекрасно за мной ухаживаешь, но все равно чувствуется, что это не от чистого сердца!

Мне:

– У вас доброе сердце, бедняжка, но какая же вы неловкая! Хотите помочь, а делаете больно!

Своей консьержке, славной женщине, которая старалась развлечь ее своей болтовней:

– Вы считаете, что очень интересно слушать о несчастьях других?

Когда мы пытались скрасить однообразие ее меню каким-нибудь домашним блюдом, лакомством, она заявляла:

– Вот это как раз я совсем не люблю.

Или же:

– Меня просто выворачивает при одном взгляде на это.

Оставалось только смеяться.

И вдруг из этой неопрятной постели, засыпанной крошками, заваленной старыми коробками, старыми газетами, до которых она никому не разрешала дотронуться, до вас доносилось:

– Я вам кажусь очень противной? Да? Такой уж у меня характер, дети мои. Всю жизнь говорила правду в глаза. В конце концов вы перестанете ко мне приходить...

И в ее круглых птичьих старушечьих глазах – непередаваемое выражение испуганного раскаяния, такого комичного, и готового вот-вот вырваться наружу облегчения, потому что она прекрасно знала, что мы все равно придем, и это «все равно» было ей необходимо, чтобы обрести душевное равновесие, а все ее гневные тирады, вспышки раздражительности, неприветливый ворчливый прием – всего лишь утверждение своей независимости, этого требовала ее гордость, ее нелепое представление о долге (только бы не получилось, что она вымаливает милость, только бы ни на мизинец не уступить бессилию и болезни) – всего лишь ее собственный этикет. И когда она действительно выводила нас из себя и доводила до отчаяния, этот жалобно-комичный взгляд напоминал нам, что она *всего лишь* соблюдает этикет и очень нас любит.

Воскресенье

Я вскакиваю в половине девятого и бегу варить кофе: я твердо решила, что это воскресенье станет образцом организованности и дисциплины. Умываюсь и одеваюсь. Главное – быть выше мелочей, не дать себе погрязнуть в них. Расталкиваю детей. Бурные протесты. Вывожу гулять собаку. Завтрак – одеты все как попало. Даниэль, в одних трусах, бренчит на гитаре, сидя в кровати, на которую я ставлю поднос с завтраком. Собака бросается будить Жака. За ней с величественным видом шествуют две кошки и усаживаются рядом с блюдом, где лежат рогалики. Кончился сахар.

Дрозд заливается во все горло. Его слух оскорблен пением Даниэля. Полина впопыхах натянула трусы, которые ей явно велики (кстати, чьи они – Даниэля? Или Жака?), трусы доходят ей до колен и по своей конструкции явно предназначены для мужчины, тем не менее она изъявляет желание в таком виде отправиться в церковь. Я прошу детей застелить постели (по правде говоря, сильно сомневаясь в успехе). Обоснованный отказ: сначала они хотят репетировать пьесу, которую мы готовим к Рождеству: «Потом будет уже не до репетиций. А кровати могут подождать...» Подозреваю, что ждать им придется долго. Мы репетируем. Жак отказывается вставать с постели. Приступ радикулита? Пусть присмотрит за Хуанито: Долорес, отправившись, как всегда по воскресеньям, «слегка проветриться», оставила его на наше попечение, и теперь он ползает по ковру. В десять минут одиннадцатого мы спохватываемся – в церковь придется бежать бегом. Куда-то запропастился мой левый сапог: дело рук Хуанито. У Венсана на ботинке, на самом видном месте – огромная дыра.

– Надевай кеды.

– Не могу, Хуанито пустил их в воду, в ванной.

Там они и плавают. Я вылавливаю их, кладу сушить. Венсан отправляется в церковь в дырявых ботинках, я впопыхах надеваю другие сапоги, засовываю в них брюки и становлюсь похожа на лихую наездницу. С оравой взлохмаченных детей врываюсь в церковь, Полина и здесь умудряется вертеться.

– Не люблю церковь, – объявляет она.

– Ты еще маленькая, могла и не ходить, – отвечает Альберта.

– Я не люблю церковь, но люблю Бога, – уточняет эта малолетняя еретичка.

Я возвращаюсь: одиннадцать часов. Дома все вверх дном. Так, теперь за продуктами. Потом в Батиньоль, провести тетушку, отнести ей что-нибудь на обед, натереть Жаку поясницу перцовой мазью – в эту мазь я верю слепо, приготовить еду. Дети упорно отказываются убирать кровати.

– Сначала нам нужно подышать свежим воздухом. В Люксембургском саду нечего делать без мяча, а все мячи сгрыз наш пес Люк.

Приходится расставаться с десятью франками.

Продукты. Волоку пудовую сумку по бульвару Сен-Мишель. Даниэль собирается отметить с друзьями сочельник, и ему нужны какие-нибудь «оригинальные» консервы. Короткий привал дома, чтобы сделать массаж Жаку. Он стонет. Вокруг постели громоздятся ящики: мы готовимся к переезду. Раньше двух мне от тети не вернуться, а Жак уже проголодался. И не хочет ждать ни меня, ни детей. Что-нибудь на скорую руку – яйца, стакан вина. Я тоже не могу устоять, присаживаюсь на краешек постели, выпиваю глоток вина, закусываю. Передышка. Половина первого. Теперь к тете, скорее. Расстояние приличное. Дорогой я стараюсь сосредоточиться на утренней проповеди, но ловлю себя на мыслях о рождественских подарках.

Добираюсь до тетушки. Доставляю грудку цыпленка, аккуратно упакованную в пергамент. Тетушка встречает меня сердечно.

- Вот так всегда, хочу повидать Жака, а являетесь вы, – говорит она. – Или наоборот.
- Жаль, что так получилось, тетя.

Коль скоро принцип соблюден и ее независимость провозглашена, тетюшка смягчается и даже хихикает, предаваясь воспоминаниям о своей молодости.

- До свидания, тетя.
- Уже?
- Мы ведь еще не обедали, и у меня обед не готов.
- Что за странность!

Обратный путь. Делать нечего, хватаю такси. Я – дома. Жак дремлет. Даниэль с приятелями в своей крошечной комнатухе: страшный вой электрогитар. Дрозд заходится, вне себя от возмущения. Кровати не убраны.

Я готовлю фондю – плавленый сыр с белым вином, это быстро и девочки любят. Они мало что любят. К тому же у меня нет другого выбора: вчера вечером Даниэлю захотелось попить холодненького, холодильник остался открытым, и мясо, которое предназначалось для воскресного обеда, съели кошки. Я обращаю на это его внимание.

- Ничего страшного, – отвечает он снисходительно. – Я пообедал в кафе.

Итак, снова поднос на нашей кровати, фондю, длинные вилки. Дети в восторге, и на том спасибо.

- Папа хоть не будет чувствовать себя таким одиноким.

Жак проснулся – одна кошка у него на голове, другая на животе, он смеется. Гармония.

В последнюю минуту обнаруживается, что в спиртовке, на которой я готовлю фондю, кончается спирт. Половина третьего. По меньшей мере. Все закрыто. Дети бегают по соседям, пытаюсь у кого-нибудь занять спирт. Приносят добычу: мини-калькулятор (реклама виски), складной метр, старый журнал «Пье никеле», два елочных шара, три карамельки и леденец. Видно, соседи просто подавали моим детям на бедность. За неимением лучшего я подливаю в спиртовку остаток виски. Виски горит, конечно, хуже, чем спирт, но, в общем, не так уж плохо. Жак, выпив вина, оживает. Даниэль вносит свою лепту в наше застолье, описывая, что он ел в кафе. Все в прекрасном расположении духа.

После обеда – вновь репетиция. У Полины, которая весьма талантливо играет роль крокодила, недавно выпали все передние зубы. И потому всякий раз, когда она произносит: «Поглядите на мои зубы», – все дружно покатываются со смеху.

- У крокодилов тоже есть молочные зубы, – заявляет Полина.

Горячая дискуссия. Выпадают ли у крокодилов зубы?

Семь часов. Снова поднос, на нем сборная солянка: сосиски, крутые яйца, остатки шпината, который мы едим прямо из своих же чашек, внезапно обеспокоившись, что Долорес придется мыть слишком много посуды. Смотрим вестерн по телевизору. Должна признаться, очень увлекательный. Даже слишком, так что я с опозданием замечая, что дети, не отрывая взгляда от Марлен Дитрих, начали раздеваться, готовясь ко сну, и одежда кучей свалена на полу. Люк намеревается улечься поверх нее, Жак взрывается. Традиционная вспышка, недолгая и совершенно бесполезная. Полина, разобравшись в ситуации, из приличия начинает хныкать.

– ...Дети совсем от рук отбились! Кровати не удосужились застелить. Пользуются тем, что родители измотаны!.. – И так далее в том же духе.

Наши милые крошки невозмутимы, они подбирают одежду и сваливают в столовой на буфет точно такой же кучей. Вместо собаки на нее ложится кошка. Все-таки почище. Потом возвращаются к нам для вечерней молитвы, радостные, безмятежные – любо-дорого смотреть.

- Думаю, мы здесь хлебнем напоследок, – говорит Жак, немного успокоившись.

Переезд через три дня.

Наконец-то можно лечь спать. Около полуночи меня внезапно разбудит Даниэль: забеспокоившись, заведен ли будильник, он придет проверить. Мы немножко поболтаем, потом нам захочется выпить сока, и мне снова придется вставать.

В понедельник утром я ухожу очень рано. Скорее, скорее разогнать этот туман в голове, избавиться от пустоты в душе... Но когда я иду в ванную через три наших комнаты, в полумраке один за другим, словно часовые по цепочке, меня окликают тоненькие голоса:

– Мам, это ты?

– Поцелуй меня...

– Ты куда?

Мой распорядок дня никогда не меняется, но каждое утро я слышу вопрос: «Ты куда?» Однажды в раздражении я бросила Альберте:

– На Елисейские, на танцульки.

– Желаю хорошо повеселиться, – только и сказала она и снова уснула.

Домик из картона

Домик из картона,
Из бумаги лесенка, —

напевает Венсан.

У меня такое же впечатление. И все это подтверждает: в комнатах царит беспорядок, дети одеты кто во что горазд (Даниэль, вступив в отроческий возраст, отпустил волосы до плеч, навесил на себя какие-то кольца и цепочки и стал разительно похож на юного африканского царька или на статиста из «Опера Комик»), постоянного заработка нет, и это еще усугубляется беспорядочным ведением хозяйства (мы то переоцениваем, то недооцениваем наши средства, отказываемся от прачечной, от сигарет, от приобретения марок — летом Жак в припадке экономии вздумал питаться исключительно молоком и нажил себе желтуху, — а потом вдруг даем обеды на двадцать персон, но утка с ломтиками апельсина дымится на шероховатых тарелках, взбитые сливки подаются в баночках из-под горчицы), да вдобавок еще эта разорительная привычка нанимать прислугу, исходя из внешности: «Какое интересное лицо... В ней что-то есть», — изрекает Жак, разглядывая — откинув голову, прищулив глаза, — оторопевшую претендентку. Для меня решающую роль играет личная симпатия, безотчетный порыв, побуждающий нанять в судомойки будущую флейтистку, в кухарки — симпатичную пьянчужку, долго проработавшую в армейских столовых, для уборки квартиры — мать-одиночку, обремененную близнецами. Этот метод, который зиждется на эстетическом восприятии и сродстве душ, ни к чему хорошему обычно не приводил — по крайней мере в том, что касается ведения хозяйства. Бывшая манекенщица ушла от нас в моих туфлях, пьянчужка доставила к столу мою младшую дочь (Полину) вниз головой и в таком виде пыталась усадить ее на детский стульчик, флейтистка каким-то загадочным способом, секрет которого она унесла с собой, умудрилась взорвать несколько водонагревателей. Сама я веду затяжную войну с разными солидными организациями (социальное страхование, семейное вспомоществование, пенсионное обеспечение, не говоря уж о том, что никакие налоги, ни прямые, ни косвенные, не удастся заплатить в срок и пени нарастают с удручающей быстротой), войну, которая совершенно выбивает меня из колеи, а тут еще на меня обрушивается лавина оторванных пуговиц, дырявых носков, трусов с лопнувшей резинкой, перегоревших лампочек — без меня их никто не заменит, — отвинченных дверных ручек. (Неужели в других домах тоже отвинчивают дверные ручки? Я *никогда* не видела, чтобы в нормальных семьях двери были без ручек. Когда только они успевают их привинтить? И ни разу мне не удалось настигнуть таинственного злоумышленника, который откручивает ручки и совершает другие акты вандализма.)

Домик из картона... Я часто спрашиваю себя: моя ли в том вина? Или все это в порядке вещей? «Из бумаги лесенка...» А мне весь дом кажется бумажным, прибавьте сюда еще ту бумагу, которую я так прилежно мараю и которая уходит от меня безвозвратно, прибавьте детские рисунки, разбросанные повсюду, полотна Жака, сваленные под лестницей, раскрытые книги, обрывки недописанных стихов, всякие коллажи и, наконец, блестящие безделушки, цена им грош, они охотно поселяются у нас и живут себе поживают, ничего не опасаясь, в отличие от дорогого саксонского фарфора (срок жизни его в лучшем случае — неделя) — вот тот пестрый, легкий и непрочный материал, из которого собран наш дом.

Здесь все разбивается, пылится, исчезает, все, кроме самого эфемерного. Нет порядка, нет режима, нет обеда, нет даже работы — что это за работа, если мы только и делаем что малюем холст или покрываем каракулями бумагу? И вот результат: наши дети очень ловко

клеят из картона солдатиков, очень охотно рисуют, пишут стихи, делают коллажи, ставят пьесы, танцуют, поют, смеются и плачут, но не чистят зубы, уходят в школу без портфелей, с обезоруживающей улыбкой предъявляют дневники, черные от двоек, и всегда готовы заниматься чем угодно, только не тем, чем положено заниматься школьникам их возраста.

Друзья заходят и уходят в любое время дня и ночи, обедают, ужинают. И даже животные поселяются у нас, похоже, по собственной инициативе. Вместо пропавшей кошки появляется бездомная собака. Золотая рыбка была выиграна в лотерею и уже достигла канонического возраста – четыре года. Голубя с перебитым крылом мы встретили однажды на лестнице: завидев нас, он заковылял по ступенькам и уверенно остановился напротив нашей двери. Сомнений быть не могло. *Он явно шел к нам.* Три месяца он жил у Венсана в комнате. Быстро стал ручным, ночью спал рядом с Венсаном, на его подушке. Трогательное зрелище для тех, кто при этом не видел, что творится в комнате: под ногами хрустит зерно, и всюду следы помета, на который не скупятся голуби и который, как пишут в газетах, «бесчестит» городские памятники. Комната Венсана была совершенно обесчещена.

Я уж не говорю о других наших сожителях: о болотных черепахах – подарке нашего приятеля Бобби, который преподает детям основы классического танца («Репетитор по латыни был бы куда нужнее», – замечает Жанна, но разве мы виноваты, что наш приятель танцор, а не латинист), – о хомячках, более или менее эпизодических, о щенках, оставленных на попечение Долорес нашими соседями, уехавшими отдыхать, о певчем (да еще как!) дрозде – в конце концов его съела собака, – о кролике, которого Долорес выиграла в лотерею – из-за него мы две недели не могли войти в нашу вторую ванную, которой очень гордимся.

Собака, кошка, голубь, кролик – целый зверинец. Бумажный домик, домик, где двери то и дело хлопают, и я тщетно стараюсь эти двери прикрыть, законопатить эти щели, через которые все проникает, просачивается и все ускользает, утрачивается. А надо ли – закрывать, законопачивать, прибирать, ставить на место?

Благие намерения

А ведь когда мы с Жаком поженились, мы были преисполнены самых благих намерений! Порядок, только порядок, и ничего, кроме порядка. Какое-то время мы жили, опьяненные собственным благоразумием. Мы уже не дети, мы люди взрослые, мы станем образцовой супружеской парой, ведь наши дети (некоторые из них уже появились на свет) нуждаются в нас. То был разгул исполненных практицизма мечтаний, своего рода романтизм наизнанку, который доставлял нам истинное наслаждение. К черту Венецию и Моцарта! Отныне мы говорим лишь о полочках, корзинах для белья и наших будущих доходах. Мы специально отправлялись в универмаг «Отель де вилль» за кранами, потому что там они были дешевле, чем в москательной лавке (экономия – 0,95 франка на каждом кране), а потом сворачивали в китайский ресторан, где просаживали стоимость целой батареи кранов и крантиков. Но перед нами неотступно витал образ той идеальной фантастической пары, на которую мы равнялись, и мы делали вид, что зашли в ресторан, чтобы «все серьезно обсудить».

Возвращались очень поздно, опьянев от скверного красного вина, и выкладывали на стол листочки со сложными арифметическими подсчетами, исчезавшие вскоре неведомо куда.

Почему же эта идеальная пара так и не смогла материализоваться? Почему этот до мелочей рассчитанный бюджет не был применен в жизни, почему остались на бумаге остроумные хозяйственные усовершенствования, почему сразу же были нарушены торжественно провозглашенные великие принципы (Жак: «Никаких животных». Я: «Каждый день тщательная уборка одной комнаты»)? Появились животные, комнаты оказались захламлены (еще один великий принцип: никаких ЛИШНИХ вещей), и теперь попробуй их убери... Мы обросли вещами, как тропический лес лианами. Десять лет мы тешили себя иллюзией, что, дескать, «достаточно только переехать». Потом мы переехали...

Кстати, о лишних вещах Долорес говорит: «Если бы все это барахло хоть что-нибудь да стоило!» Единственное наше оправдание, что оно ничего не стоит.

Все произошло как-то само собой. Краны так и не были поставлены. Дверные ручки исчезали одна за другой. Окна перестали закрываться, хотя предыдущий жилец горя с ними не знал. Умывальник, с которым обращались без должного почтения, упрямо не желал давать воду, несмотря на еженедельные визиты слесаря средних лет и средней степени опьянения, делавшего мне недвусмысленные предложения. Ванна оказалась более покладистой, она щедро снабжала нас горячей водой и часами согревала на своей груди, случалось, и всех скопом, но чтобы подчеркнуть свою независимость, решительно отказывалась опорожняться, в чем ей способствовал притаившийся на дне и упрямо сопротивлявшийся сливной клапан.

– Надо сменить клапан, – рассеянно говорил Жак всякий раз, когда, лежа в ванне, читал «Монд».

– Разумеется, дорогой...

Слесарь:

– Ну что вы, милочка. Стоит ли беспокоиться из-за такой ерунды? И так жить можно. Захотите слить воду – придержите клапан руками, и все дела.

И мы его придерживаем. Мы – это или я, или Долорес, придерживаем, согнувшись в три погибели, с перекошенными от напряжения лицами, руки до плеч в давно остывшей воде, которая сливается без особой спешки. Но гораздо чаще мы ничего не придерживаем, и ванна часами стоит полная до краев, что позволяет детям пустить в плавание рыболовецкую флотилию (решение спустить воду встречается дружным ревом), а Хуанито – проводить в ней интересные научные опыты: погружение кошки, салатницы, томака Бальзака издания

«Плеяды», который после трех или четырех глубоководных экспедиций и такого же количества сушек на батарее стал напоминать истерзанный трофей рыбака – греческую амфору почтенного возраста или краба, обросшего звездчатыми кораллами.

И все же у нас неплохие отношения с ванной, этой старой, немножко капризной, но по-своему благожелательной особой. Не могу сказать этого о двух стульях, которые готовы в любую минуту рухнуть вместе с вами, о шкафчике для продуктов, на редкость скрытном господине, который так и норовит прищемить вам пальцы, сколько его ни чини и сколько за ним ни ухаживай, о холодильнике, который даже в пору своей ранней юности с маниакальным упорством генерировал неизвестным науке способом целые ведра мутной воды с целью утопить в ней доверенные ему продукты и с возрастом не стал сдержаннее. Буфет не раз прятал свои ключи, и что прикажете делать в четверть второго, когда дети уже места себе не находят – им давно пора быть в школе, – а к посуде не подобрешься?

– Бутерброды, – решает Кати, хранительница нашего семейного очага, которая никогда не теряет присутствия духа.

Лучше не придумашь. Дети в восторге, как от любого сюрприза, они жадно набрасываются на бутерброды с сыром, а кошка Тэкси лакомится бифштексом из конины. Буфет, огорченный неудачей своей вендетты (ведь сколько пинков он получил!), высокомерно швыряет нам ключ, который он, оказывается, скрывал в кухонном полотенце. Да, на сей раз осечка. Ничего, он еще отыграется. В его наглухо закрытых боковых отделениях случаются неожиданные и весьма эффектные обвалы посуды. Несколько глубоких тарелок, дерзостно водруженных на пирамиду из чашек – архитектурное сооружение, парящее в воздухе, что выдает руку Кати, – находят свой преждевременный конец.

– Прямо «Сотворение мира» Дариуса Мийо, – говорит Альберта, которой не чужд педантизм.

Полина радостно взвизгивает: среди обломков она нашла свою серебряную подставку для яиц (подарок на крестины), которая уже несколько недель как исчезла. Кати в задумчивости созерцает последствия катастрофы.

– Все-таки придется рано или поздно купить другой буфет, – говорит она.

Она нас хорошо понимает.

Что уж тут говорить о лампочках. Их у нас уходит столько, словно мы сутки напролет купаемся в море электрического света, – невольно приходят на ум роскошный бал во времена Луи-Филиппа, «Галери Лафайет» в канун Рождества, аэродром Орли, отель «Риц», Елисейские Поля. Лампочки в нашем доме любят неожиданно взрываться, таинственно исчезать, удивительным образом преображаться и вообще готовы пуститься во все тяжкие. Окрашенные в голубой или желтый цвет, они, как Ахилл, предпочитают краткую, но славную жизнь долгому прозябанию в тени абажура (впрочем, абажуров у нас нет, вместо них пластмассовые колпаки, у которых есть определенное преимущество: если они как следует разогреты, то становятся мягкими и податливыми, их можно лепить как глину). Чтобы рассказать обо всех тайнах, которыми окутана в нашем доме жизнь лампочек, потребуется целый том. И мы вынуждены обращаться с ними, как с балеринами из «Опера», которые стоят бешеных денег, обманывают вас, бросают, но без которых обойтись невозможно. А вот что действительно изводит нас, так это отсутствие занавесок. Почему в домах, где мы живем, никогда не бывает занавесок?

Занавески

Однажды в приливе острой тоски – дело было в Нормандии, в нашем загородном доме, самый факт существования которого придает нам респектабельности (согласитесь, это звучит так солидно: «мой загородный дом» или «наше маленькое поместье в Нормандии»), – я вынуждена была признать, что, несмотря на наше достойное волхвов ожидание чуда, занавесок на окнах как не было, так и нет. А ведь я так живо их представляла – в красную и белую клетку, как подобает на ферме; Жаку они виделись скорее в белую и зеленую полоску; сколько было обсуждений, обстоятельных и горячих, словно у молодоженов, как охотно в них принимали участие дети (они предпочитали в цветочек); одним словом, все было очень мило, в духе американских фильмов, где дружная семья счастливо улыбается на фоне разноцветных миксеров. Но несмотря на нашу беззаветную веру, занавески не появлялись. В Париже мы почти потеряли надежду: годы шли, и становилось все более очевидно, что они вообще не появятся. Соседи привыкли, что наши дети натягивают трусики у них на глазах, а нам – на случай приступа стыдливости – оставалась прихожая без окон. Но за городом, под бодрящим воздействием зеленых лужаек, яблонь в цвету или увешанных спелыми плодами, надежда вновь возвращалась. Занавески прямо просились к нам на окна, это было несомненно. Мы бы не удивились, если бы в один прекрасный солнечный день они влетели к нам в окна, как ласточки.

– Все-таки странно, что здесь нет занавесок, – говорил время от времени Жак, и раздражение боролось в его голосе с природным оптимизмом.

Я была того же мнения. Мы отправлялись в церковь или на рынок. Уезжали, возвращались; машина битком набита: капуста, конфеты, иллюстрированные журналы (слава богу, не забыли комиксы для Долорес), сигареты – настоящий галеон конкистадора, отваливающий от берегов Перу, – нет только занавесок. Отсутствие занавесок угнетало меня все больше и больше. В моей душе плакал кровавыми слезами фландрский дух домашнего очага. И однажды истина открылась мне и ослепила, как Павла из Тарса свет с неба, я была сражена, но готова склонить голову перед судьбой: занавесок у нас не будет никогда.

Есть люди, которых занавески знать не желают. Есть люди, у которых вся посуда разномастная. Есть люди, у которых дымят печки и которых преследуют своей ненавистью буфеты. Есть люди, у которых волосы не покоряются расческе и не поддаются самой искусной завивке («Что поделаешь, – сокрушаются очаровательная мадам Элиан или милейший мсье Жан-Пьер, которые время от времени пытаются привести в порядок мою прическу. – Стоит коснуться ваших волос щеткой, и все идет коту под хвост»). У детей таких вот людей зубы растут вкривь и вкось, шнурки на ботинках развязаны, на нарядном свитере – чернильное пятно, пуговицы вечно оторваны, а в портфеле рядом с раздавленной жевательной резинкой и связкой ключей валяются «Три мушкетера». Что тут можно поделать? О моя златая Фландрия! О хрупкая фаянсовая мечта! О добрый дух домашнего очага, начищенных сверкающих кувшинов, сияющих паркетов, воскресных платьев! В вазе – одинокий тюльпан, книга лежит на столе, там же, где ты оставила ее вчера. О белье шкафы!

Я плакала. Я молилась. Я написала стихи. Но занавесок у нас нет до сих пор.

* * *

Один приятель подарил мне книжку для записи расходов. Потом чудовищную скрепку для писем с такой (весьма грозной) надписью: «Не забывай». Потом хорошенькую голубую птичку для хранения булавок, которые ведут себя в нашем доме точно угри в океане: мигри-

ругают, размножаются. Это становилось опасным. Приятель явно пошел на компромисс. Наконец, он подарил мне бумажный цветок, уже совершенно бесполезный. Нет, ему с нами не справиться. Увы, он тоже пал жертвой заразы.

Вещи

Но есть и такие предметы, которые нас любят. Например, бумажные змеи. Или мексиканские копилки – насмешливо улыбающиеся головки, они висят у нас над пианино. Музыкальные инструменты (мой старший сын делит свои симпатии между банджо, гитарой, саксофоном, кларнетом и барабаном из Конго, к которым иногда присоединяются еще и другие ударные). Альберта верна пианино, я бренчу на гитаре, отец семейства – владелец виолончели, которую он очень редко берет в руки, но созерцание ее пузатых лакированных боков тайно согревает ему душу. В лице Катрин, нашего нормандского ангела, которая провела у нас свои лучшие годы, с четырнадцати до восемнадцати, мы имели страстную флейтистку. С Долорес у нас началось царство фламенко. Даниэль дирижирует недолговечными, но страшно шумными джаз-оркестрами (одна из наиболее многообещающих групп распалась после того, как 14 июля ужасной какофонией привела в уныние праздничную толпу и под конец, обессилив от неумеренных возлияний, устала своими телами эстраду, раскрашенную в цвета национального флага). И еще у нас есть дрозд из Индии – нас уверяли, что он прекрасно подражает человеческому голосу, но начал он с того, что, выразив нам презрение, залаял по-собачьи, а затем увлекся музыкой, вступил в состязание с телевизором и радио и стал издавать изумительные по резкости и силе звуки весьма широкого диапазона в самых разнообразных тональностях, ни в чем не уступая знаменитой Име Сумак, наследнице древних ацтеков, этому американскому соловью. У нас прекрасно живет куклам, калейдоскопам, пустым банкам (без крышек), бутылкам причудливых форм и очертаний (мы дружно надеемся, что в один прекрасный день они превратятся в светильники), ботинкам (ни одна пара, даже сношенная до дыр, не находит сил с нами расстаться – как-то раз Даниэль, которому нельзя отказать в изобретательности, потерял терпение и развесил всю обувь у себя в комнате, прибив ее к стене гвоздями, – по крайней мере мы хотя бы знали, где что искать). Веревки, клейкая лента, продавленные ивовые корзины, разноцветные куски обивочной ткани (слишком маленькие, чтобы ими что-то покрывать), шали (слишком большие – не выйдешь же из дома завернутой в трехметровую шаль? Зато их любят кошки), книги, металлические скрепки, подрамники без холста, холст без рамы, заржавленные шейкеры для коктейля, лопаточки для тортов неизвестного происхождения, лекарства, которые никто никогда не принимает. Погнутые гвозди. Картотека без карточек. Авторучки и зубные щетки очень нам преданы. Ключи у нас веселого нрава, они растут и размножаются, и большинство их, от мала до велика, никогда не подходило ни к одному замку. Есть у нас и ключи величинной с ноготь. Может быть, в другой жизни мы были лилипутами? Я мечтательно рассматриваю один из таких ключей. У меня никогда не было шкатулки с драгоценностями, ящичка, закрывающегося на замок, или миниатюрного футляра... Вот если бы у меня была копилка... Или футляр для золотой расчески. Или, например, коробка для рукоделия – я всегда о ней мечтала, но и этой мечте, подобно мечте о занавесках, вряд ли суждено осуществиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.